

Hebbel



Hebbel

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

О С Н О В А Н А М. ГОРЬКИМ

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

М. ГОРЬКИЙ, И. А. ГРУЗДЕВ,
Б. Л. ПАСТЕРНАК, В. М. САЯНОВ,
Н. С. ТИХОНОВ, Ю. Н. ТЫНЯНОВ

С. П. ШЕВЫРЕВ

С Т И Х О Т В О Р Е Н И Я

ВСТУПИТЕЛЬНАЯ СТАТЬЯ,
РЕДАКЦИЯ И ПРИМЕЧАНИЯ

М. АРОНСОНА

Ответственный редактор *Ц. Вольпе.*
Технич. редактор *А. Кирнарская.*
Корректор *С. Шаталов.* **Художник**
М. Кирнарский. Лениноблгорллит
 № 4789. С. П.— 41/Л. Тираж 3000.
 Сдано в набор 28/III 1938. (Подпи-
 сано к печати 17/X 1939 г. Печ. л. 17.
 Уч.-а. л. 20,2. Бум. л. 4¹/₄. Формат
 бумаги 80X108 ¹/₃₂. Кол. знаков
 в 1 б. л. 52600. Набрано в тип.
 „Печатный Двор“ им. М. Горького
 Отпечатано с матриц в тип. „Ленин-
 градская Правда“. Ленинград, Со-
 циалистическая, 14. Заказ № 9582.

7 р. Переплет 1 р. 50 к.

ПОЭЗИЯ С. П. ШЕВЫРЕВА

1

Мы знаем Шевырева — реакционного профессора 40—50-х годов, креатуру С. С. Уварова в Московском университете, ярого представителя «официальной народности», литературного и общественного противника и гонителя Белинского и Герцена, Грановского и Чернышевского.

Он неизменный оратор на обедах, юбилеях, праздниках, актах официального характера — в честь ли посетивших Москву после Крымской войны офицеров Черноморского экипажа, по случаю ли очередного выпуска в кадетском корпусе, в ознаменование ли юбилея Московского университета или посещения его попечителем московского учебного округа. Он свой человек в доме гр. Закревского, московского генерал-губернатора, по поручению которого организует маскарады. На каждый приезд в Москву Николая I, на его смерть, на коронование Александра II он пишет стихи, на которые московский генерал-губернатор накладывает революцию: «Напечатать во всех газетах». Их официальный характер давал повод для характерных эпиграмм, вроде:

Усопшего царя напутствовали ревом
Греч, дважды сеченный, с кликушей Шевыревым.¹

А среди студентов Московского университета ходили такие стихи:

В дни верноподданных скандалов,
Когда пел оды Шевырев,
В честь тупоумных генералов
Давали много мы пиров...²

Педант, низкопоклонник, человек мелочно-самолюбивый, готовый при случае подгадить, краснобай, прикрывающий цветистыми фразами убожество содержания, — так рисуют Шевырева 40—50-х годов современники самых разных лагерей. «[Шевырев]... до такой степени трус, — писал о нем И. С. Аксаков, — что недавно, по праву декана, заставил перепечатать одну диссертацию... потому что в ней, по поводу разных филологических исследований о древних формах падежей и пр., были ссылки на сочинения брата Константина [Аксакова], который занимался историей русского языка. Шевырев, уверяя, что это имя компрометирует «науку» (которой представителем и жрецом он считает исключительно себя), приказал вычеркнуть имя, а воспользоваться мыслями, без озна-

¹ «Былое», 1925, № 4 (32), стр. 166.

² Ср. Б. Чичерин, Воспоминания, М., 1929, стр. 103.

чения имени, позволил». ¹ «Булгарин с Гречем не идут в пример, они никого не надули, их ливрейную кокарду никто не принял за отличительный знак мнения, — отметил А. И. Герцен. — Погодин и Шевырев, издатели «Москвитянина», совсем напротив, были добросовестно раболепны. Шевырев, не знаю отчего, может, увлеченный своим предком, который середь пыток и мучений, во времена Грозного, пел псалмы и чуть не молился о продолжении дней свирепого старика». ²

Таким же рисует Шевырева и Е. П. Ростопчина в своем «Доме сумасшедших» в 1858 году, уже после его отставки:

Вот профессор сладкогласный,
Что так горько был гоним
Молодежью, столь пристрастной
К людям, к мнениям иным.
Очистительною жертвой
Духу века принесен, —
Видит он: теперь уж мертво
Всё, что чтл, что славил он...
И враги ему студенты, —
И за то он им постыл,
Что любил кресты и ленты,
Что метафоры любил!..

Эти характеристики можно продолжать до бесконечности. Все они отчетливо рисуют прочно установившееся, вошедшее в традицию представление о Шевыреве как о бездарном педанте, интригане, певце и идеологе николаевского режима.

И если бы дело этим исчерпывалось, то незачем было бы вытаскивать сейчас из архива истории поэзию Шевырева и предлагать ее вниманию читателя.

Но дело в том, что рядом с этими отзывами существуют отзывы о Шевыреве, имеющие прямо противоположный смысл. Мы знаем, что к Шевыреву с интересом и уважением относились такие замечательные писатели первой половины XIX века, как Пушкин, Жуковский, Вяземский и все «любомудры». Шевырев, по отзывам его современников, — отзывам, относящимся к 20-м годам XIX века, — предстает перед читателем совершенно другой фигурой, абсолютно не похожей на реакционного «Шевырку». «Герой Шевырев», «витязь великосердый», автор «Мысли», «одного из замечательнейших стихотворений нашего времени», человек от которого ждут оживления «нашей дремлющей северной литературы», «истинный талант» которого «неоспорим», — вот Шевырев в оценках Пушкина. «Я люблю почти десять лет, с того времени, как вы стали издавать «Московский Вестник», который я начал читать, будучи еще в школе, и ваши мысли подымали из глубины моей души многое, которое еще доныне не совершенно развернулось», — писал ему Гоголь в 1835 году. «Я очень любил и уважал Шевырева и высоко ценил его способности и дарования», — писал Плетневу кн. П. А. Вяземский. — «Едва ли он не один был между нами настоящий *homme de lettres*, по разнообразным своим сведениям, по прилежности и постоянству его в литературных трудах и вообще по всей жизни, которую он исключительно посвятил литературе». «Чистый, пламенный Шевырев», «поэт с возвышенной душой», «Schreib-Denk

¹ Письмо И. С. Аксакова к А. О. Смирновой от 29 января 1850 г., «Русск. Архив», 1895, кн. III, стр. 443.

² А. И. Герцен, Соч., т. XII, стр. 149.

und Dichtungs-Maschine», везущий из Италии «запас мыслей и приобретений, которому вы порадуетесь со всеми его друзьями русскими», крупнейшая фигура «Московского Вестника», один из главарей нового поэтического поколения, шедшего на смену Пушкину, — вот чем был Шевырев в 20-е годы для литературной молодежи — Киреевского, Рожалина, Трилунного, Соболевского, Мельгунова, Погодина и многих других.

Вот этот небольшой, но самый важный во всей литературной жизни Шевырева период и заслуживает изучения.

2

Шевырев начинает выдвигаться в литературе вскоре же после разгрома декабристов. К этому времени круг его идейных и литературных интересов совершенно определился. Окончив Московский университетский пансион, который привил ему любовь к немецкой литературе, Шевырев целиком погружается в изучение немецкой литературы и философии. Его интересы сосредоточиваются на немецком романтизме и на философии немецкого романтического идеализма.

В это время возник кружок, сгруппировавшийся вокруг журнала «Мнемозина», и другой, более узкий кружок, известный в истории литературы под именем кружка «любомудрия» (философии). Здесь читаются и изучаются философские сочинения и обсуждаются произведения немецких философов — Канта, Фихте, особенно Шеллинга, и др. Кошелев пишет о характере философских интересов «любомудров»: «Христианское учение казалось нам пригодным только для народных масс, а не для любомудров. Мы особенно высоко ценили Спинозу, и его творения мы считали много выше Евангелия и других священных писаний».

На почве интереса к немецкому романтизму Шевырев в 1822—1823 годы сближается с кружком московских «любомудров».

Молодые московские дворянские интеллигенты держались по отношению к властям независимо и не одобряли политики правительств. Однако их недовольство имело характер аристократической оппозиции, и это приводило к пассивности самого их протеста, к стремлению облечь его в формы отвлеченные, «идеальные», романтические с налетом мистицизма. Учение о божественности вдохновения художника, возносящего его над низменной жизнью обывателей, натурфилософская мистическая романтика захватывает молодых литераторов-аристократов, и они противопоставляют идеальный мир романтической философии своей реакционной действительности.

В декабре 1824 года в Москву приезжал Рылеев, и под влиянием разговоров с ним политические интересы у «любомудров» начинают выдвигаться на первый план.¹

Шевырева также коснулись политические интересы «любомудров», возникновение которых связано было с ростом декабристского движения.

Известие о разгроме декабристов на Сенатской площади производит на «любомудров» «потрясающее впечатление». Разгром дека-

¹ Подробнее о политических настроениях «любомудров» и Шевырева см. в моих статьях: «К истории «Медного Всадника» Пушкина» и «Конрад Вольфенрот» и «Полтава»» во «Временниках Пушкинского Дома», 1936, №№ 1 и 2.

бристов перепугал их необычайно. На собрании было решено общество ликвидировать. И председатель общества В. Ф. Одоевский торжественно сжег все протоколы заседаний кружка.

В условиях победившей реакции либеральные настроения у «любомудров» постепенно эволюционировали к идеологии раннего славянофильства.

Напуганные разгромом декабризма, «любомудры» первоначально отказались от радикальной политической критики русского государственного строя, перенеся свою неудовлетворенность социальной обстановкой русской действительности в область чистого умозрения, опираясь в своих построениях на философию немецкого романтического идеализма, а затем при помощи немецкого же идеализма пытались оправдать реакционную социальную действительность России. Так от настроений, близких к декабристским, они эволюционировали к славянофильству, от романтического шеллингизма к прямой философии религиозного откровения, закончив эту эволюцию в лице близких им Шевырева и Погодина реакционной идеологией официальной народности.

И характерно, что Шевырев среди «любомудров» выдвигается на первое место в годы, когда революция уже была позади. Он сразу же проявляет себя как крупнейшая теоретическая сила этого кружка. В кружке «любомудров» он обнаружил себя и наиболее оригинальным и наиболее самостоятельным теоретиком искусства.

Эстетические взгляды «любомудров», как известно, опирались на эстетические искания немецких романтиков, на философию Шеллинга и на работы немецких эстетиков Аста и Бахмана, строивших свои концепции на основах шеллингизмской философии.

Однако «любомудры» по-своему перерабатывали идеи немецкого романтизма, стремясь приспособить их к своеобразию русской действительности. Эти попытки переосмысления Шеллинга характеризуют весь круг «любомудров», но наиболее отчетливое выражение они получили у Шевырева.

Думается, можно сказать, что из всех русских шеллингизмцев 20-х годов Шевырев был наименее шеллингизмцем. Ведь характерно, что в то время, когда бр. Киреевские специально ездили в Мюнхен слушать лекции их властителя дум, Шевырев, проезжая Германию, в Веймаре побывал у Гете (сопровождая кн. Волконскую), но в Мюнхене не посетил Шеллинга, за что получил выговор от друзей. Влияние немецкого философа на Шевырева, вообще говоря, несомненное, сочеталось в нем с попытками разбираться в литературном процессе как в процессе историческом. Он изучает русскую литературу «в историческом порядке», он принимает участие в кружке Раича, который, между прочим, ставил себе задачей создать курс литературы, основав его уже не на нормативах старой эстетики, а на истории литературной,¹ он в рецензии на «Собрание российских стихотворений», в котором видит материалы к будущей истории русской литературы, прямо требует такой организации печатаемого материала, которая, вне зависимости от жанров, дала бы представление об истории развития русской поэзии.²

В своей рецензии на «Елену» Гете он следит за историческим изменением образа и его толкования.³ Исторические обоснования

¹ См. тетрадь С. Е. Раича в архиве ИРЛИ.

² См. «Моск. Вестн.», 1827, ч. 6, стр. 439 и сл.

³ См. «Моск. Вестн.», 1827, ч. 6, стр. 79 и сл.

явлений искусства завлекают его все дальше и дальше, и уже в 1830 году он записывает в дневник:

«В России, мне кажется, должно бы предпочитать методу историческую, и самую философию, если возможно, заключить в историю. Если бы я стал писать эстетику для русских, я предложил бы ее в порядке историческом, начиная с Гезиода и Гомера». ¹

В следующем году Шевырев уже решительно становится на путь исторического анализа и стремится освободиться от немецкого влияния: «Здесь научусь судить не с голоса по немцам, а собою, — пишет он Погодину из Италии. — О Шекспире мой образ мыслей совсем меняется; я нахожу, что немцы его не понимают, или, лучше, понимают слишком по-немецки. Я вообще насчет всех мнений нахожусь в состоянии брожения: у меня все как-то перерождается и выходит новое от своего, Русского корня». ²

И действительно, последующие работы Шевырева, как «Рассуждение о возможности ввести итальянскую октаву в русское стихотворение» и «Дант и его век», как и книги «История поэзии» и «Теория поэзии в историческом развитии», отталкиваясь от немецкой идеалистической философии и от Шеллинговой романтической философии истории, стремятся перейти на почву исторического мышления.

В своем курсе теории поэзии Шевырев обрушивается на Шеллинга и его последователей — Аста и Бахмана — именно по этой линии. «Последователи Шеллинга, занимавшиеся приложением начал его к науке искусства, совершенно потеряли из вида то, что всякая наука должна иметь свое собственное, частное начало и собственную живую органическую силу, которая принимает в нее новые явления, не позволяя философии замыкать их волшебным кругом единого отвлеченного закона. Они совершенно умертвили живое начало науки, — и вот почему книги их совершенно пусты во всем, что касается до эмпирической ее части, и бесплодны для критики. Идея художественная несколько не отделена у них от идеи философской: отсюда все сбивчивые понятия, содержащиеся в их общей теории искусства. Разграничение родов и видов совершенно не существует, — и, напротив, все устремлено к той цели, чтобы показать между ими единство, уничтожающее их частные свойства, стирающие с них краски жизни. Наружная систематика, основанная на какой-то симметрии начал отвлеченных, и схоластическая терминология — две неизбежные принадлежности германской философии — нанесли также большой вред изложению и наружной форме эстетики...» ³

Некоторые элементы исторической интерпретации литературы были уже в кружке Рача, они прскальзывают в статьях и рецензиях Шевырева в эпоху «Московского Вестника». В борьбе эгого исторического метода с системой шеллингианской эстетики значительную, может быть даже основную роль сыграло знакомство Шевырева с Пушкиным. Шевырев сам ссылается на Пушкина в своей автобиографии: «Чтение Бориса Годунова Пушкиным в доме у Веневитиновых, чтение других пиес Пушкиным лично Шевыреву, как, например, Пророка, графа Нулина, Утопленника, Поэта

¹ Дневник, т. I, запись 28 или 30 июля 1830 г., Архив Шевырева, ГПБ.

² Письмо к М. П. Погодину, № 49, от 17/5 сентября 1831 г. из Рима, Дашк. Собр., ИРЛИ.

³ С. П. Шевырев, Теория поэзии в историческом развитии у древних и новых народов, М., 1836, стр. 320—321.

и черни, беседы с Пушкиным о поэзии и Русских песнях, чтение Пушкиным этих песен наизусть, принадлежат к числу тех плодотворных впечатлений, которые содействовали образованию его [Шевырева] вкуса и развитию в нем истинных понятий о поэзии». ¹

Таким образом, Пушкин с его громадным чувством истории косвенно участвовал в формировании исторического метода Шевырева. Пушкин не был единственным фактором в преодолении шеллингианства Шевыревым, но, повидимому, был фактором значительным. Вспомним, что именно исторический метод изучения в противоположность «эмпирической системе французской критики» и «отвлеченной философии немцев» Пушкин подчеркивает как лучшую сторону «Истории поэзии» Шевырева.

Что же означала история в эстетической концепции Шевырева? Прежде всего это был вопрос об отношении искусства к действительности. «У него [Сисмонди, автора «Истории Италии средних веков»] нисколько история искусства и поэзии не связана с историей политической, так что, прочитавши у него историю XV века, никак не можешь привязать к происшествиям и характерам того века Микель-Анжело, Рафаэля, Арносто и проч., не постигаешь возможности существования этих людей, представителей своего времени». ² В другом месте он прямо указывает, что «нет ни одного предмета поэтического, началом которому не послужила бы действительность: потом разве, переходя в другие уста, предания искажаются». ³ Литература, по Шевыреву, самым тесным образом связана с действительностью, отражая ее в своих произведениях.

В своей работе «Дант и его век» он рассматривает «Ад» не только как поэтический памятник, но и как памятник средневековой культуры, отразивший характернейшие черты этой культуры. Вообще «История словесности какого-либо народа есть изображение его жизни в произведениях словесных». ⁴

Отсюда вырастает совсем новое понимание роли и назначения поэта. Если в 1827 году Шевырев разделял романтическое представление о независимом, свободном поэте, «который волен как сама природа в создании людей и как судьба в создании происшествий, картин порока или добра», ⁵ то уже в 1830 году понимание им отношения поэта и народа значительно осложняется. Поэт и народ уже не просто сосуществуют, они тесно связаны друг с другом, поэт становится «апофеозом народа». «Великий поэт не создает языка, не подслушав его в народе, оживляет его мыслью, душой — и потом предлагает народу его же материал, но им очищенный, обновленный, преображенный. И как народ радуется такому преображению... Он видит самого себя прославленным, мыслящим, возвеличенным. Поэт есть апофеоза народа. Мертвый язык издается народом, сыном

¹ Биографический словарь проф. Моск. Унив., М., 1855, т. II, стр. 606; ср. также Н. С. Тихонов, Соч., т. III, в. 2, стр. 223. (Разрядка моя. — М. А.)

² Дневник, т. I. Запись 31 декабря 1830 г., л. 45 об. Архив Шевырева, ГПБ.

³ Там же, Заметки при чтении «Русское», л. 91.

⁴ С. Шевырев, Общее обозрение развития русской словесности, М., 1838, стр. 2.

⁵ Обозрение русской словесности за 1827 г., «Моск. Вестн.», 1828, ч. 7, стр. 70.

земли; мысль, душу живую влагает в него Поэт, сын неба. Так объясняется явление Гомера, Шекспира, Данта, Ломоносова». ¹

С этого времени отношение поэта к «народу» и «веку» на многие годы занимает Шевырева. Гений как представитель народа, по Шевыреву, воплощает национальный дух, между тем как он же, будучи представителем века, заключает в себе интернациональное начало, отражая культуру всех передовых народов своего времени. При этом и народ и век не полностью конструируют гения: есть в нем еще «божественная искра», произвольно падающая с неба на избранную главу человечества и зарождающая в ней священный огонь. «Гений внезапно, как свет во вселенной, как человек между тварями, как все божественное в земном. Рождение его объясняется одним безусловным: да будет...

Но форма, в какую сей гений облачается, но выражение, какое он приемлет, принадлежит его веку. Гений есть олицетворенный ответ на современный ему вопрос человечества». ²

Данте в глазах Шевырева «олицетворяет в себе самопознание своего века, служа полным ему отражением». ³ Пушкин для него

...избранный божества.
Любовию народа полномочный!
Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державиным предтечей,
Наш депутат на Европейском вече; —
Ты — колокол во славу России! ⁴

Преодоление идеалистической абстрактности шеллингизма привело к обоснованию литературы как отражения культуры данного народа и данной эпохи.

Так как современность есть та же история, то ясно, что перед поэтом, каким его представлял себе Шевырев, стоят не только узколитературные, но и более широкие общественные задачи. «Все лучшие поэты действовали на современников», — записывает он однажды в дневник при чтении записок Байрона. ⁵

В одной из своих позднейших статей о Гоголе Шевырев указывает, что поэты — это «учителя жизни», которые дадут о ней «такие глубокомысленные уроки, каких вы ни от кого не услышите». И далее: «Да, повсюду видна связь искусства с жизнью, но особенно важна она у нас, как народа практического, не способного к отвлеченностям. Только то произведение тронет у нас за живое и возбudit участие всех, в котором существенная основа тесно связана с корнем нашей жизни... Все истинные поэты нашего отечества постигали это необходимое соединение; во всяком живом произведении русском вы непременно его найдете, и вот почему на всяком образованном належит обязанностию изучать произведение поэта в отношении к жизни и не брезговать никакою истинною действительности русской, если только она воссоздана верно, полно, живо могучею фантазиею поэта». ⁶ Литература, став элементом просвещения, принимает таким образом воспитательные и познавательные функции.

¹ Дневник, т. I, Запись 10 августа 1830 г.

² Дант и его век, Ученые Записки Моск. Унив., ч. 21, М., 1833, стр. 307.

³ Там же, стр. 306

⁴ Послание А. С. Пушкину.

⁵ Дневник, т. I, л. 62, Запись 12 апреля 1831 г., Архив Шевырева, ГПБ.

⁶ Похождения Чичикова, или Мертвые души. Статья первая, «Москвитин», 1842.

В связи с этим очень важно отметить и те конкретные задачи, которые Шевырев ставит перед собой и своими друзьями. Он не может при этом не связать этих задач со своими политическими настроениями. Как же должны действовать «любомудры», чего они должны добиваться в литературе, чему учить, к чему призывать? «Мне часто приходит мысль, — пишет он Погодину в 1829 году: — всякому из нас по частям должно продолжать дело Петра и потом еще готовить Россию и к обратному шагу, то есть возвращать Русских к Русскому». ¹ Речь, конечно, идет о преобразовании России (имя «Петр» в 20-х годах звучало как символ), и притом о преобразовании в национальном духе. Трудно в более сжатой формуле выразить основные особенности идеологии раннего славянофильства.

5

Отношения «любомудров» с Пушкиным имеют важнейшее значение для понимания историко-литературного смысла русского «любомудрия». Возникновение интереса Пушкина к «любомудрам» относится к 1826 году. 8 сентября 1826 года Пушкин приехал в Москву. В это время он стремится заключить союз с московскими «любомудрами» и организовать совместный журнал для борьбы против общих литературных противников (Булгарина и Полевого).

В сложной и враждебной ему обстановке второй половины 20-х годов Пушкин искал хотя бы временных союзников для борьбы против общих литературных врагов. Он предполагал, что журнал московских «любомудров» будет органом его собственным и его друзей. «Любомудры» его интересуют прежде всего как теоретическая сила. Поэтому Веницинов его интересует не как поэт, а прежде всего — как критик. Пушкин со вниманием прочел разбор Венициновым 1-й главы его «Евгения Онегина», и этот разбор, отличавшийся от остальной современной критики стремлением анализировать роман в свете его философского смысла, заинтересовал его как первое проявление в литературе нового духа той московской философской школы, о существовании которой он уже был предупрежден Баратынским. В январе 1826 года Баратынский писал Пушкину, обращая его внимание на стихотворение Шевырева «Я есмь»: «Надо тебе сказать, что московская молодежь помешана на трансцендентальной философии. Не знаю, хорошо ли это, или худо; я не читал Канта и, признаюсь, не слишком понимаю новейших эстетиков. Галич выдал пиитику на немецкий лад. В ней поновлены откровения Платоновы и с некоторыми прибавлениями приведены в систему. . Впрочем, какое о том дело, особливо тебе. Твори прекрасное, и пусть другие ломают над ним голову».

Приехав в Москву, Пушкин читал в кругу «любомудров» своего «Бориса Годунова». Тогда же совместно с «любомудрами» Пушкин приступил к обсуждению плана нового журнала, который он объяснился поддерживать. Так возник «Московский Вестник» — орган союзников Пушкина, но, как вскоре выяснилось, — не единомышленников. На первых же порах обсуждения плана и характера журнала Пушкину пришлось резко бороться против враждебной ему «немецкой метафизики» «любомудров».

¹ Письмо к М. П. Погодину от 27 октября 1827 г., № 5, Дашк. Собр., ИРЛИ.

Уже с первых шагов сближения выяснилось, что немецкий идеализм «любомудров» враждебен Пушкину. Так, Пушкин писал Дельвигу 2 марта 1827 года: «На-днях, рассердясь на тебя и на твое молчание, написал я Веневитинову суровое письмо. Ты пеняешь мне за Московский Вестник — и за немецкую метафизику. Бог видит, как я ненавижу и презираю ее; да что делать? Собрались ребята теплые, упрямые; поп свое, а чорт свое. Я говорю: господа, охота вам из пустого в порожнее переливать, — все это хорошо для немцев, пресыщенных уже положительными познаниями, но мы... Моск. Вестник сидит в яме и спрашивает: веревка вещь какая? (впрочем на этот метафизический вопрос можно бы и отвечать, да NB). А время вещь такая, которую с никаким Вестником не стану терять. Им же хуже, если они меня не слушают».

Вскоре же на первый план выступили различия и расхождения. Из альянса ничего не получилось. Московские «любомудры» отнеслись к друзьям Пушкина, Вяземскому и др., открыто враждебно. Вяземский неожиданно для Пушкина стал поддерживать враждебный «Московскому Вестнику» «Московский Телеграф» Полевого. Баратынского в «Московском Вестнике» Шевырев открыто обругал. Да и к самому Пушкину «любомудры» относились с худо скрываемой недоброжелательностью. Нужен он был им главным образом как литературная приманка для подписчиков. Конечно, они не были против того, чтоб Пушкин стал «их» поэтом, но вскоре должны были признать, что повернуть на свою дорогу Пушкина им не удастся. Вот почему совместная работа Пушкина с «любомудрами» в «Московском Вестнике» вскоре принесла обоим сторонам взаимное разочарование.

В написанной в 1827—1828 годах 7-й главе «Евгения Онегина» (строфа 49) Пушкин иронически говорил о московских литературных юношах-аристократах, подчеркивая, что они, в отличие от Вяземского, пушкинского друга, не поняли любимой героини Пушкина — Татьяны:

Архивны юноши толпою
На Таню чопорно глядят
И про нее между собою
Неблагосклонно говорят.
Один какой-то шут печальной
Ее находит идеальной
И, прислонившись у дверей,
Элегто готовит ей.
У скучной тетки Таню встретя,
К ней как-то Вяземский подсел
И душу в ней занять успел.

«Любомудры», в свою очередь, осознавая себя зачинателями новой поэзии, противопоставляли себя поэзии Пушкина и его сверстников. В книге Г. Кенига «Оберки русской литературы», написанной, как известно, при ближайшем участии Н. Мельгунова и отразившей литературные взгляды «любомудров»,¹ различаются три эпохи русской литературы XIX века. К первой отнесены Жуковский, Батюшков и Вяземский. Ко второй — Пушкин, Баратынский, Дельвиг, Языков, Козлов и даже Подолинский. Третью группу со-

¹ Н. К ö n i g, Literarische Bilder aus Russland, 1837. Книга вызвала полемику с Н. Гречем на русском и немецком языках. Из большой литературы вокруг нее укажем Н. М е л ь г у н о в а, «История одной книги» (М., 1839), где Мельгунов разделяет высказанные Кенигом взгляды (ср. стр. 18 и 30).

ставляют «любомудры»: Веневитинов, Шевырев, Хомяков — «и другие, еще не определившиеся».

«Любомудры» не только не смешивали себя с пушкинскими эпигонами, но и прямо противопоставляли себя им. «Бери в пример Гумбольта, — наставлял Шевырева Титов, — помни, что в нашем веке литератору не позволено ограничить себя, как Дельвиг, одного словесностию». ¹ Для Погодина Дельвиг и группа «Литературной Газеты» — это только синицы, пытающиеся сжечь море. ² Для Мельгунова Шевырев как глава «любомудров» прямо идет на смену Пушкину: «Приезжай, будь корифеем новой школы, начни с теорий и переводов, положи основание литературе ученой, в противоположность прежней беллетристике, и тебя подхватит дюжий хор, и наши соловьи Хомяков, Языков, к тебе пристанут. В них наша надежда; прочие же отживают или уже отжили свой век: сам Пушкин идет под гору, о других ни слова» — требовал Н. Мельгунов. ³ Взоры всех «любомудров» были устремлены на Шевырева. Решительного слова ждали именно от него, этой Schreibe-Denk und Dichtungs-Maschine, как называл его Соболевский. ⁴

Уже во время обсуждения с московскими «любомудрами» программы организуемого журнала «Московский Вестник» выяснилась руководящая роль Шевырева как теоретика новой школы. Различные обстоятельства в редакции «Московского Вестника» привели к тому, что избранный основными сотрудниками в соредакторы Рожалин был в конце октября 1827 года заменен Шевыревым, несмотря на энергичное сопротивление Погодина. В декабре Погодин уехал в Петербург, и Шевырев напечатал в 1-м номере «Московского Вестника» за 1828 год «Обозрение русской словесности за 1827 год». Основным критерием своей критики Шевырев, как и все «любомудры» в эту пору, избрал содержание произведений и с этой точки зрения подверг уничтожающему разному нравственно-сатирические сочинения Булгарина и неодобрительно отзывался о стихах Баратынского, с его точки зрения, более «поэта выражения», чем поэта «мысли и чувства».

Характерен отклик Пушкина на это обозрение: «О герой Шевырев! О витязь великосердый, подвизайся, подвизайся!!» — писал Пушкин Погодину, а в конце письма добавил выговор: «Шевыреву пишу особо. Грех ему не чувствовать Баратынского, но бог ему судья». Пушкин одобряет выпад против Булгарина, но несогласен с мнением о Баратынском, хотя и то и другое у Шевырева является следствием одного и того же основного положения. Почему? Потому что пушкинский взгляд на поэзию резко расходится со взглядами Шевырева: Пушкин не принимал *противопоставления* идеи, мысли и поэзии ее выражению или отделке.

Для Пушкина в годы «Московского Вестника» Шевырев, конечно, также не столько единомышленник, сколько союзник.

В сущности вся методология Шевырева была враждебна Пушкину, но выпад против Булгарина даже с этих позиций был ему на руку. Шевырев-критик для Пушкина был острым и действенным

¹ Письмо В. П. Титова к Шевыреву от 28 апреля 1830 г. Архив Шевырева. ГПБ.

² Ср. «Русск. Архив», 1882, кн. III, стр. 178.

³ Ср. А. Кирпичников, Очерки по истории новой русской литературы, т. II, М., 1903, стр. 166.

⁴ «Русск. Архив», 1909, № 7, стр. 490.

оружием, и он всемерно поддерживает его. Пушкин доволен, что разбор Шевыревым «Елены» Гете обратил на себя внимание Гете, который написал несколько слов о Шевыреве в своем письме к Борхардту (письмо было напечатано в «Московском Вестнике» в 1828 году). Пушкин писал об этом письме: «Оно... даст Шевыреву более весу во мнении общем. А того-то нам и надобно. Пора уму и знаниям вытеснить Булгарина с братией». ¹ В связи с жестоким разбором шевыревского стихотворения «Мысль» в «Северной Пчеле» (разбор явился ответом на шевыревское «Обозрение») Пушкин в том же письме пишет: «За разбор Мысли, одного из замечательнейших стихотворений текущей словесности, уже досталось нашим северным шмелям от Крылова, осудившего их и Шевырева каждого по достоинству». ²

В феврале 1829 года Шевырев по дороге в Италию, проезжая через Петербург, встретился там с Пушкиным. «Пушкин мне очень обрадовался, — сообщает он Погодину. — Он весьма ласков. Вчера мы провели с ним вместе вечер у Дельвига». ³ Далее он сообщает, что познакомился на этом вечере и с Подолинским. Подолинский в своих воспоминаниях рассказывает, как, проходя гостиную, он был остановлен Пушкиным, подле которого сидел Шевырев. «Помогите нам состряпать эпиграмму», — сказал ему Пушкин. Торопясь, Подолинский не остановился и прошел дальше. Когда же он возвратился, эпиграмма была уже готова. Это была эпиграмма на Каченовского «В Элизии Василий Тредьяковский». ⁴ Свидетельство это очень ценно, так как показывает, что внешние отношения Пушкина и Шевырева были более, чем простое знакомство.

В течение почти четырехлетнего пребывания Шевырева в Италии Пушкин неоднократно вспоминает о нем по разным поводам. В своей рецензии на «Денницу» 1830 г. он отмечает это дважды. «Автор [«Обозрения русской словесности за 1829 г.», — т. е. И. В. Киреевский] принадлежит к молодой школе московских литераторов, школе, которая основалась под влиянием новейшей немецкой философии и которая уже произвела Шевырева, заслужившего одобрительное внимание великого Гете, и Д. Веневитинова, так рано оплаканного друзьями всего прекрасного». В глазах Пушкина Шевырев — фигура более крупная, чем Веневитинов, и ему отводится первое место. «Из молодых поэтов немецкой школы, — читаем мы дальше, — г. Киреевский упоминает о Шевыреве, Хомякове и Тютчеве. Истинный талант двух первых неоспорим». В глазах Пушкина Шевырев явно выше Тютчева.

Когда в 1831 году, после смерти Мерзлякова, в Москве возникает проект передать кафедру Московского университета Шевыреву (вопреки желанию самого Шевырева, мечтавшего стать драматургом) и друзья начинают хлопотать о нем, Пушкин тоже принимает участие в этих хлопотах. Он едет в Петербург, «облеченный во всеоружие брани» за Шевырева, ⁵ и пишет Плетневу письмо с советом поддержать Шевырева: «Это была бы победа над университетом, то есть над предрассудками и вандализмом». Когда осенью

Письмо к Погодину от 1 июля 1828 г. Пушкин, Письма, т. II, 1928, стр. 52.

² См. прим. на стр. 220.

³ Письмо к М. П. Погодину от 25 февр. 1829 г., Дашк. Собр., ИРЛИ.

⁴ Воспоминания А. И. Подолинского, «Русск. Архив», 1872, стр. 859.

⁵ «Русск. Архив», 1882, т. III, стр. 185.

1832 года Шевырев возвратился в Россию, он в Москве встречается с Пушкиным снова. Об этой встрече мы узнаем из письма бар. Розена к Шевыреву: «Я о вас расспрашивал Пушкина и узнал только, что вы милы и любезны по прежнему».¹ В 1833 году Пушкин в «Мыслях на дороге» дал Шевыреву очень высокую оценку, в 1836 году набросал для «Современника» сочувственную рецензию на «Историю поэзии» Шевырева, отметив, как особое достоинство книги, исторический метод изложения; в том же году он вступает с Шевыревым в полемику по поводу оценки книги Сильвио Пеллико, тут же называя Шевырева «писателем с истинным талантом, критиком, заслужившим доверенность просвещенных читателей». Весною 1836 года произошла и последняя личная встреча Пушкина с Шевыревым: Шевырев бывал у него в квартире Нащокина, где Пушкин делился с ним своими соображениями о «Слове о полку Игореве»; Пушкин был и у Шевырева, где за ужином превосходно читал русские песни. Это было их последнее свидание.²

Как видим, отношение Пушкина к «любомудрам» было дифференцированное. На одном полюсе стояли Веневитинов и Одоевский (как и Титов), на другом — Киреевский и Шевырев (как и М. П. Погодин). С первого взгляда может показаться странным, что именно критики, пользующиеся оружием немецкой идеалистической философии, более всего привлекали к себе внимание поэта, по его же собственному признанию «ненавидевшего немецкую метафизику». Эта загадка, однако, легко разъяснится, если мы рассмотрим внимательнее в отдельные этапы и отдельные стороны этих отношений. Мы увидим тогда, что эти внешне ровные и неизменные отношения тают в себе очень сложные переплетения интересов. И Пушкин и «любомудры» многим обязаны друг другу и в то же время во многом оказывались непримиримыми врагами.

Этот сложный переплет отношений «любомудров» к Пушкину, который несколько не покрывается вопросом о влиянии «любомудров» на Пушкина или об их группировке вокруг него, разъяснит нам многое в истории русского «любомудрия» как литературного течения. В нем, пожалуй, мы найдем ответ и на кажущуюся противоречивость их литературной позиции. Это, конечно, была борьба с Пушкиным, но борьба, идущая сложными путями, и в исторических обстоятельствах литературной жизни после разгрома декабристской революции создавшая почву для соприкосновения и сближения. Сам Пушкин в это время испытал некоторое влияние эстетики московских шеллингианцев. Так, не случайно он напечатал в «Московском Вестнике» стихотворение «Пророк», придав ему там характерное заглавие «Поэт».

4

Я уже говорил о том, что поэзия Шевырева по своему характеру может быть разделена на три периода, что первый период охватывает годы творчества с 1821 по 1824 год, что второй период, самый важный и основной для Шевырева, — это его поэтическая работа 1825—1831 годов, и третий — вся работа Шевырева после 1831 года. Этот последний период в развитии Шевырева-поэта, за редкими

¹ «Русск. Архив», 1878, т. II, № 5, стр. 47—48.

² Л. Майков, там же, стр. 331.

Перепечатывая свои октавы в «Московском Наблюдателе», Шевырев так объясняет их происхождение: «...Я утомлен и раздражен был изнеженностью отечественного стиха и хотел этому противодействовать, сколько слабые силы мне позволяли. С последними звуками нашей монотонной музыки в ушах, я уехал в Италию... Долго не слышал русских стихов, которые памятные мне были только своим однозвучием... Вслушивался в сильную гармонию Данта и Тасса... Обратился к нашим первым мастерам, нашел в них силу... устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского... Все свои мысли и чувства об этом я выразил тогда в моем Послании к А. С. Пушкину, как представителю нашей поэзии. Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке; мне думалось, что сильные, огромные произведения музыки не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным. Но я догадывался также, что для такого переворота надо всем замолчать на несколько времени, надо отучить слух публики от дурной привычки... Так теперь и делается. Поэты молчат. Первая половина моего предчувствия сбылась: авось сбудется и вторая».¹

Итак, работа над октавами для Шевырева была работой над реформой русского стиха. Это была попытка выработать стих, способный выдержать большую идейную нагрузку, — стих, достаточно гибкий для самых разнообразных оттенков изображения исторических событий и человеческих страстей, стих противостоящий карамзинистской «неге однообразных звуков, когда мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки». В этом смысле поучительно сопоставить шевыревские октавы с пушкинскими.

Для Пушкина работа над октавой имела задачей расширить новую стиховую формой русскую строфику и поэтику.

Но возвратиться все ж я не хочу
К четырёхстопным ямбам, мере низкой,
С гекзаметром... о, с ним я не шучу:
Он мне невмочь. А стих александрийский?
Уж не его ль себе я залучу?
Извивистый, проворный, длинный, склизкий
И с яломом даже — точная змея;
Мне кажется, что с ним управлюсь я.

Пушкинские октавы не восходят к итальянским образцам; они опираются на опыты таких октав, существовавших в русской поэзии у Дельвига, октавы которого «К друзьям», как это установлено Б. В. Томашевским, в рукописи носят следы пушкинской правки,² и у Жуковского, написавшего октавами элегию «На смерть королевы Виртембергской».

Пушкинские и шевыревские октавы любопытны и своим теоретическим сопровождением об октавах, — во вступлении ли к повести, или в особом рассуждении. Взятый из традиции русской поэзии пушкинский стих расширяет виды русской поэзии. Сами вольности пушкинских октав рассчитаны на определенный гармонический

¹ «Моск. Наблюдатель», 1835, ч. 3, стр. 5 сл.

² См. А. Д е л ь в и г, Полное собр. стихотворений, под ред. Б. В. Томашевского, Л., 1934, стр. 471.

фон, общий для русской поэзии того времени. Между тем, шевыревские реформы только начинаются за этой чертой, они рассчитаны на подрыв самих основ общепринятой силлабо-тонической просодии.

Шевырев широко вводит ритмические перебои или, как тогда говорили, смешивает ямбы с хорями:

Ливень, ветер, гроза одним порывом
В очи франкам пенстовые бьют...

Будет с тебя мопх сокровищ тленных...
Небу грозил мечом — и наконец

Беглым пятам оп ввериться решился...
Но пуще всех Раймонд гневом трепещет...

Он отказывается от симметрического расположения мужских и женских рифм в строфе. У Пушкина, как и у Дельвига, по условиям рифмовки, октавы начинаются попеременно то мужским, то женским стихом, а Шевырев не только дает им «бесчиннейший развод», но вводит порою даже дактилические рифмы:

Иль благодать небес хранит от зол
Она ли пастушка пасет и милует;
Иль потому, что не смиренный дол,
Скорей гора громами изобилует:
Так и войны безумный произвол
Одних царей главы мечом насилует;
А над быт низкий, бедный недостойн,
Чтобы пленился им корыстный воин.

Наконец, в случаях столкновений двух гласных в стихе он видит возможность элизий:

А в сердце изменнику вникает хлад...

«Я уверен, — пишет он об этом стихе в своем рассуждении, — что всякий, кто хорошо прочел этот стих, то есть не скандуя его по нашему обычаю, не заметил, что тут есть лишний слог. *Е* и *и* тут совершенно слились в один звук. Да не вменяют мне иные этого в ошибку или в то, что я не умел сладить со стихом. Я мог бы сказать

А в грудь изменнику вникает хлад...

Но всякий, сколько-нибудь постигающий гармонию стиха италианского, всякий, не испортивший совсем уха тоническим размером, предпочтет первый стих...»¹

Задачу затейной им метрической реформы Шевырев очень хорошо сформулировал в своей автоэпиграмме — октаве: «Рифмач, стихом российским недовольный»

Современники хорошо понимали, что основное острие шевыревского новаторства направлено против Пушкина. «Вас пленяют стихи Пушкина! Вы думаете, что они воспитали поэтическое чувство на Руси! Стыдитесь! Они гладки, звучны, а это худо — они изнежили, расслабили нервы вашего слуха! Чтоб помочь этой беде, явится перевод Освобожденного Иерусалима — с шумом и скрипом потянутся перед вами неслыханные октавы!», — так иронизировал Белинский.²

¹ Рассуждение... «Телескоп», 1831, ч. 3, стр. 477.

² «Телескоп», 1835, ч. 27, стр. 146.

мышления становились у «любомудров» конструктивным элементом стихотворений.

Стихотворения, построенные таким образом, считаются характерной особенностью поэзии Веневитинова. Более того, найденные у Пушкина («Три ключа»), они приписываются влиянию Веневитинова на Пушкина, хотя общеизвестно проницательное отношение Пушкина к молодому «любомудру».

Между тем именно данный вид метафорического построения стихов имел у «любомудров», повидимому, более широкое распространение. По крайней мере у Шевырева он представлен и полнее, и шире, и последовательней.

Первое так построенное стихотворение Веневитинова «Любимый цвет» датируется 1825 годом. У Шевырева к 1825 году относятся два произведения, построенные этим методом: «Лилия и роза» и стихотворение в прозе «Домик сердца». Все они еще не нащупали математически ясной формулы построения, и метафорический предметный план уже с самого начала перебивается планом прямых рефлексий и мыслей. В «Лилии и розе» цветы символизируют невинность и любовь; все стихотворение посвящено разрешению вопроса, «какой же из цветов милее», и поэт-философ приходит, наконец, к заключению, что милее всего сочетание обоих. В «Домике сердца» обитают сестры: Надежда, Воспоминание, Любовь и Дружба, и равновесие достигается присутствием последней подруги — «Святой Веры». Таково и первое стихотворение Веневитинова «Любимый цвет», еще не достигающее цельности построения. Поэт разбирает цветы неба: цвет лазури, цвет луны, цвет радуги, — все они прекрасны, но прекраснее всего цвет «молодой денницы». Он с детства озарил ланиты невинной девушки и

С тех пор он вдвое стал мне мил,
Сей луч румяного рассвета.

Здесь нет еще решительного переключения предметного мира, здесь оба плана сосуществуют, переплетаясь друг с другом.

Дальнейшая работа над этим типом лирического стихотворения привела к некоторым отчетливым формулам переключения. «Две чаши», «Четыре новоселья» и особенно «Звуки» Шевырева достигают на этом пути большой выразительности.

Особенно любопытны по своей стройности «Звуки» Шевырева. Для выражения своих чувств люди пользуются тремя языками: цветами, словами и звуками. Однако живопись, рисуя предметный мир, не может выразить «души невыразимой». Поэзия тоже бедна:

Но много чувств я в сердце испытал
И их не мог изобразить словами.

Только язык звуков — музыка способна стать языком чувств.

В основе построения всех стихотворений этого типа лежит некоторый силлогизм. Приемы логического мышления у «любомудров» становятся конструктивным элементом поэзии, и развитие этого стихотворного типа шло по пути оголения, уточнения, подчеркивания конструкции, с целью полнее и яснее выразить основную мысль.

Это и была конструкция, рожденная в борьбе за «поэзию мысли». Это и была поэзия, в которой «предметы теряют свою вещественность; все живое, сущее является одним призраком, тенью, облаком; все временно в ней, все мгновенно, кроме одной мысли или

чувства, над всем господствующего и всему дающего душу, согласие, определенность, единство». ¹ Предметный вещественный мир в поэзии «любомудров» являлся действительно только «клавишами чувств». «Сравнение в европейской поэзии давно уже потеряло свое первобытное назначение, свой первоначальный характер простоты и необходимости, какой дан был ему Омиром. Оно теперь, особенно со времен Байрона, есть или выражение мысли, или игра фантазии, излишество роскоши поэтической», — писал Шевырев в своей работе о Данте.

И все же эта форма лирического стихотворения скоро вследствие логичности своего построения, делающей развитие стихотворной мысли прямолинейно аллегоричным, должна была быть оставлена. Ее первые ростки появились у «любомудров» в 1825 году, последние, повидимому, — не позже 1827 года. Несколько стихотворений у Веневитинова и Шевырева, одно стихотворение у Пушкина, всегда внимательно следившего за поэтической работой своих современников и использовавшего эту конструкцию едва ли не в качестве эпитафии на смерть Веневитинова («Три ключа» 1827 года), — вот распространение этой конструкции. Повидимому, дело было в том, что, оголая самый принцип конструкции с целью яснее и полнее выразить мысль, этот тип лирического стихотворения обеднял самую мысль, сводя ее до уровня некоей умственной загадки, разрешаемой стихотворением. Было нечто очень рассудочное в этой конструкции, очень поверхностное, что-то от остроумия светской гостиной, от философии дамского альбома. Не случайно большинство этих стихотворений адресовано дамам или друзьям. Их идейный уровень вообще невысок. «Музыка есть искусство для выражения чувств», «самым прекрасным цветком является сочетание розы и лилии, символов невинности и любви» — вот идейные комплексы этой поэзии. Больших мыслей, широких идей, способных подлинно волновать общество, здесь нет, да и не может быть: слишком искусственной оказалась поэтическая конструкция, построенная на силлогизме метафор.

Естественно поэтому, что преодоления карамзинистской поэтической системы легкого музыкального стиха, остроумного пустяка, тонкой мелочи здесь не получалось. Более того, сама конструкция силлогизма метафор вела к тому же — к дамскому альбому, к светской гостиной, как и легкая поэзия карамзинистов.

Шевырев вскоре же пошел много дальше в своих исканиях новых средств выражения.

Шевырев ищет единства «лирического стихотворения» теперь в единстве образа лирического субъекта стихотворения, освещающего воспринимаемый мир своим сознанием. Взаем метафорической загадки-аллегии он создает лирические стихотворения, основанные на прямой речи, дающей возможность по самому своему существу пользоваться ею как формой для характеристики поэтического субъекта этой речи.

Лирический субъект как основной элемент стихотворения — это одна из важнейших особенностей романтической поэтики «любомудров», отказаться от которой означало бы для них — отказаться от самого смысла их поэтической системы.

¹ С. Шевырев, рецензия на «Манфреда» Байрона, «Моск. Вестн.», 1828, ч. 10, стр. 58.

О его стихах 1829 года друзья отзывались так: «Твой стих шагнул далеко вперед, и мысли больше. Какая-то краткость, многозначительность, сила. Поздравляю. — Но Христа ради не торопись. Чуть не доволен выражением, остановись и выправляй. Ты всегда скорей бежишь к концу. Это приметно и теперь. А как кончишь, на старое возвращаться и скучно и оста[ется] несовершенное».¹

Краткость, многозначительность, сила и, конечно, медленность, то есть сосредоточение внимания не на музыкальной легкости гармонического стиха, а на его идейном содержании, — вот основное, чего добивается Шевырев. И вот любопытно, как резко меняется размах и глубина идейного мира Шевырева. На смену ходячей морали его ранних од и игрушечной философии метафорических стихов приходят новые идеи, заимствованные из арсенала немецкого романтизма и переросшие, как и литературные теории Шевырева, в глубокое ощущение истории, характерное для русского общественного сознания 20—30-х годов.

Сначала — это человек как скрещение начал небесного и земного, в дуализме мира призванный синтезировать материю и дух в своем духовном творчестве. В «Силе духа» этот человек, увидев однажды прекрасный мир неба, «минутный вечного свидетель», всю свою жизнь стремится к этому небесному свету и в силах своего духа находит средства общения с этим возвышенным миром. В различных вариациях мы встречаем этот идейный комплекс — и в «Мудрости», открывающей пути к этому синтезу, и в «Преображении», дающем романтическое обоснование божественного происхождения искусства на примере Рафаэля.

Это романтическое тяготение к потустороннему миру нашло себе отражение и в лирике ночи, едва ли не впервые в русской поэзии передававшей известный поэтический комплекс немецкого романтизма. В трех стихотворениях, посвященных ночи («Стансы», «Ночь» 1828 г. и «Ночь» 1829 г.), Шевырев начинает разрабатывать эту специфическую поэтическую тематику именно в том плане, в котором она позднее раскрылась в поэзии Тютчева и Фета.

Когда безмолвствуешь, природа,
И дремлет шумный твой язык:
Тогда душе моей свобода,
Я слышу в ней призывной клик.
Живее сердца наслажденья,
И мысль возвышенна, светла:
Как будто в мир преображенья
Душа из тела перешла.

Шевыревская ночь противостоит дню, как мир отрешенных чувств, мир возвышенных, светлых мыслей, освобожденных от дневных забот и труда. Ночь для Шевырева — это открытое слияние человека и мира, разговор с природой, интуитивное проникновение в мировую тайну.

Неясно созерцает взор,
Но все душою дозреваешь:
Так часто сердцем понимаешь
Немого друга разговор.

¹ Письмо М. П. Погодина к Шевыреву, № 21, от 27 января 1830 г., Архив Шевырева, ГПБ.

Еще один шаг по этому пути — и начнется раскрытие души природы, создание некоторой мистической космогонии

Про древний хаос, про родимый...

Шевырев этого шага не сделал; по этому пути пошла лирика Тютчева, разработавшая эту поэтическую тематику полней, глубже и разносторонней.

Для читателя 20-х годов, имевшего очень смутное представление о Новалисе, тема ночи звучала еще и другой своей стороной. Это была лирика изощренных эмоций, чувственной стихии, безудержных ощущений, каких до «любомудров» русская поэзия не знала.

Другой излюбленной идеей Шевырева является бессмертие мысли, переживающей века и поколения. Мысль не просто слетает с небес на главу богоизбранного гения, — скорее человек добирается до нее, отдавая ей всю свою жизнь. Только мысль, выращенная на «соках жизни», воплощенная в гениальном создании или высоком подвиге, становится бессмертна. В этом смысле мысль надисторична, не подвержена забвению; великие произведения прошлого, переживая ряды поколений, не поддаются влиянию времени. Такова, например, его «Мысль».

В этом действительно «замечательнейшем стихотворении текущей словесности», как отзывался о нем Пушкин, Шевырев достиг высот подлинной, перворазрядной, неподдельной поэзии. В сущности, вся поэзия Шевырева, как и его литературная теория, — поэзия мысли как таковой, поэзия природы и механизма человеческого мышления и его исторической судьбы.

В 1829 году Шевырев попал в Италию, страну могил и памятников, и здесь много раз по разным поводам высказывает в стихах свою излюбленную мысль.

Великие произведения человека не умирают, не могут погибнуть, они бессмертны, такова их особая природа, — утверждает Шевырев. Его «Стансы Риму» — эпитафия мертвому городу античного мира, закончившему свой исторический путь. Город пал, рассыпалась мировая империя, все отошло в область истории. Но древний Рим еще существует, его великие памятники продолжают жить и поныне, — «гений времени» принес их «в дар вечности».

Суд времен для Шевырева — не случайный суд. Мысль, воплощенная «в создании или подвиге высоком», неизмеримо выше всего, что ее окружает в момент ее создания. Не случайно храмы Пестума — единственные сохранившиеся памятники исчезнувшего города. Не случайно кедр мысли перерастает трупы царств. Не случайно гений времени щадит великие памятники древнего Рима. Все они — высшие проявления человеческого духа, они воплощают в себе самосознание своей эпохи, они являются апофеозом создавшего их народа. Здесь историко-литературные взгляды Шевырева самым тесным образом смыкаются с его поэтической тематикой.

В этой идеалистической концепции истории культуры — ключ к пониманию поэзии Шевырева. В сложном отношении искусства к отображаемой им действительности на долю искусства ложится задача — донести до потомков свое время:

Равно поэт в себе спасает время,
Погибшее напрасно для земли...

(«Педантам-изыскателям»)

Именно поэтому поэзия Шевырева — наименее отвлеченна среди поэзии русских «любомудров». Абстрактная трактовка внеисторических тем истины, добры и красоты, своеобразный эстетизм идей, лежащий в основе поэтического мировоззрения Веневитинова, для Шевырева — только временный этап его творчества, пройденный им в 1825—1827 годах. Внеисторическая космогония, лирика романтической ночи и ее переживаний для Шевырева — только частная, не основная тема.

Историческое чувство уводило его к общественно-политическим проблемам современности, правда, в их романтическом освещении. Национальные идеи Шеллинга об исторической роли и назначении народов, легшие в основу философско-исторической аргументации раннего славянофильства, нашли себе яркое выражение и в поэзии Шевырева. Его итальянские стихи полны сопоставлений с Россией. Италия для него — страна могил и памятников, страна, уже свершившая свое историческое назначение, в то время как Россия — вся еще в будущем.

В стихотворении «Тибр» он противопоставляет узкому, тесному, мутному Тибру широкую мощь Волги — воплощения широкой России, могучего, молодого народа. В этом же стихотворении Шевырева отразились и последние его «свободолюбивые» настроения. Он с сочувствием подчеркивает, что в мертвой Италии единственным представителем славы остается «свободный, нескованный» Тибр.

Его «Форум» — это плач по задавленной демократии древнего мира. В его «Ромуле» отразились мысли Шевырева о конституции. В этом смысле показательна речь старика Фаустула — этрусского жреца и носителя народной мудрости, отражающего взгляды самого Шевырева. В конце 2-го действия Фаустул обращается к Ромулу, избранному царем нового города:

Суди лишь Миром; Миром зло казни.
Се Мир перед тобой — совет избранный,
Старейшины — сограждане твои!
Да будет Мир взыблем, неприменен!
Свой разум правь по разуму его.
О царь и Мир! Сей град — хранение ваше.
Над вами он: днесь сопрягитесь клятвой
Друг друга и Ему, перед богами.

Под словом «Мир» (mīr) Шевырев понимал парламент. В его дневнике мы находим запись: «у нас для сената представительного [то есть парламента] есть прекрасное слово «mīr», существующее у простых крестьян».

Так поэтическая тематика Шевырева тесно переплетается с его историко-литературными и общественно-политическими взглядами. Шевырев-поэт неотделим от Шевырева-критика, от Шевырева-теоретика.

6

В поисках новых форм идейно-насыщенного стиха Шевырев как поэт шел во второй половине 20-х годов своим особым, индивидуальным путем — путем экспериментатора, стихового разведчика. Он много переводил Шиллера — не столько для сообщения русскому читателю произведений немецкого поэта, сколько для того, чтобы на чужих произведениях (вырванных тем самым из жанровых норм родной литературы) дать образцы большого

ритмического разнообразия,¹ расширить рамки общепринятого поэтического языка разговорной речью² и т. д. У него есть при этом и гармонические стихи, и любопытно, что именно они одно время ошибочно приписывались Пушкину.³

Нам сейчас очень трудно восстановить подлинное звучание шеверевской речи во всем ее объеме, однако ее характерные черты уловимы осязательно. Полемизируя с традиционной риторикой, Шевырев особенно нападал на гладкость, плавность поэтической речи. «А отрицательные достоинства языка, — писал он в 1827 году, — каковы суть: гладкость, плавность и пр., о которых давно твердят нам наши риторики, стали уже неотъемлемою собственностью и посредственных поэтов и едва ли какой-нибудь строжайший учитель риторики найдет в них хотя десяток стихов в пример неисправностей слога! Честь и слава нам! Мы стали выше своих риторик».⁴ В другом месте он замечает: «Он [Баратынский] принадлежит к числу тех русских поэтов, которые своими успехами в мастерской отделке стихов исключили чистоту и гладкость слога из числа важных достоинств поэзии».⁵ Чистота и гладкость слога, — краса и гордость карамзинской поэзии, — величайшие враги Шевырева. «Утюжники», «гладильщики» — вот его терминология. «Ох, уж эти мне гладкие стихи, о которых только что и говорят наши утюжники! Да, их эмблема утюг, а не лира», — писал он однажды А. В. Веневитинову.⁶

Свои стихи он прямо называет «тяжелыми», «жесткими», и это принципиальное его устремление. Он написал однажды Погодину по поводу своего «Послания к Пушкину»: «Ты заметишь, может быть... иногда жесткость, но я достиг бы цели, если бы она искупилась силой».⁷ Погодин, не отличавшийся особой принципиальностью своих литературных вкусов, ответил ему: «За силой и мыслью ты не гоняйся: по-моему жертв быть не должно. Что сильно, то может быть и гладко, и одно достоинство другому не мешает, одно на счет другого не должно обижать».⁸ И этот отзыв вызвал сильное раздражение Шевырева. «Гладкое не мешает силе: Эх, вы, гладильщики! Да долго ли это будет? Да все мое послание написано против гладких стихов — и еще вам они не надоели! — Да отчего мускуловатая рука богатыря не гладка? — Да в чем вы разумеете гладкость? — Цезуру сдвигаю. О ужас! Quo usque?.. Надо, надо вам греметь с кафедры стихами Данта, чтоб вы поняли истую гармонию. — По

¹ Ср., например, паузники: «Но труд возник: вызывают на бой» в стих. «Четыре века» (перевод из Шиллера «Die Vier Weltalter»). «Моск. Вестн.», 1827, ч. 1, стр. 164—166, где новаторство вызвало дискуссионную сноску М. Погодина.

² Ср. «Валленштейнов лагерь» в его переводе («Моск. Вестн.», 1827, ч. 7, стр. 137—148, и ч. 8, стр. 341—355), с любопытным примечанием о грубости выражений (отдельное изд., М., 1859). О сознательности и теоретическом значении этой работы — см. в его «Рассуждении об октавах», где «обыкновенный простонародный разговор», укладываемый в стихи, мотивировал и другое новаторство Шевырева — введение элизий, например: «что воин один, то лагерь весь» («Телескоп», 1831, ч. 3, стр. 475—476).

³ Стихотворения «Цыганка» и «Цыганская пляска» — см. «Современник», 1862, январь, стр. 349—350, и «Русск. Архив», 1876, № 10, стр. 205.

⁴ О Рецензии на «Собр. Новых Русских Стихотворений», «Моск. Вестн.», 1827, ч. 6, стр. 445—446.

⁵ Обзорение русской словесности за 1827 г., «Моск. Вестн.», 1828, ч. 7, стр. 71.

⁶ М. Барсуков, Жизнь и труды Погодина, т. III, стр. 75—76.

⁷ Письмо к М. П. Погодину от 3 декабря 1830 г., № 37, Дашк. Собр., ИРЛИ.

⁸ Письмо от 25 января 1831 г., № 2, Архив Шевырева, ГПБ.

без восклицаний, твое письмо меня опечалило, ибо я вижу, что наши мысли идут врознь». ¹

Программа шевыревского стиля заключалась в отказе от самостоятельного значения стилистических проблем. Стиль должен быть подчинен мысли, и чем лучше, полнее, точнее он эту мысль выражает, тем лучше «...Никогда с древними мы не сравнимся в точности выражения: у них рифмы не было. Мы ей много жертвуем; потеряли в отношении к живописи, но выиграли музыкой. Возьми-ка в немецкой поэзии выражения, разбирай Шиллера и Гете, на всяком шагу будешь находить бессмыслицу. Там цветы — голоса, звуки живописуют и проч. Это все, правда, нашему языку противно... Точность, определенность, живопись суть неперменные, первоначальные свойства нашего языка, которых нарушать ненадобно». ² Не имея самостоятельного значения, вопросы стиля в поэтике Шевырева разрешены негативно: «Три строгих заповеди для слога, — писал он в дневнике: — 1) не пиши против грамматики (правильность и чистота все то же — *le mot correct*), 2) не пиши против смысла (сюда и ясность, и определенность, и краткость, и сила: все это можно назвать одним словом — точность — *le mot propre*), наконец, 3) не пиши против приличий общества (благородства: это свойство относится к писателю, как к человеку светскому, обществу принадлежащему). — Четвертая заповедь отдается на волю всякому и есть положительная: пиши прекрасно. Соблюдение же первых трех необходимо для каждого хорошего писателя и основано на том, что каждый писатель должен знать свой язык, иметь логику и быть человеком общественным. — Писать красиво антикварию не велишь насильно. — Всякому человеку, входящему в общество, можно поставить правилом: будь опрятен, не странен в одежде, говори пристойно; но нельзя ему велеть: носи булавочки бриллиантовые, рубашки из батиста, сукно в 50 р. аршин, лорнет золотой». ³

Шевыревские правила для слога — в сущности самые общие и самые широкие правила, потому что слог для него — только одежда мысли; посылая октавы в Москву, он рекомендует Погодину: «Да читай их просто, не скандуя, а как читаешь прозу, только выражая смысл». ⁴ Он выступает против музыкальной плавности пушкинского стиха, так как ему кажется, что изящество выражения не вскрывает, а заслоняет мысль.

Тяжелый стих Шевырева — это попытка дать стих «голых и простых мыслей», это попытка реконструкции всей поэтической системы в целом. Современники отмечали в стихах Шевырева их особый антиэстетизм, их шероховатый язык, который бросался в глаза, задерживал на себе восприятие. Так, И. Дмитриев отмечал крайне резкие прозаизмы альбомных стихов Шевырева — сравнение девушки с ее уборной, употребление слов «пыль», «мусор», «выметать».

Так выметаете и вы
Из кабинета чувств душевных
Пыль впечатлений ежедневных
И мусор ветреной молвы.

¹ Письмо к Погодину от 15 марта 1831 г., Дашк. Собр., ИРЛИ.

² Письмо к Погодину от 6 марта 1830 г., Дашк. Собр., ИРЛИ.

³ Дневник, том поступления 1828 г. Запись без даты (приблизительно апрель 1830 г.). Архив Шевырева, ГПБ.

⁴ Письмо от 15 марта 1831 г., Дашк. Собр., ИРЛИ.

«Должно признать, — заметил Дмитриев, — что это слово [мусор] есть совершенное благоприобретение нынешних молодых поэтов. Я даже не слыхал об нем до тех пор, пока на старости не купил дома». ¹

Гр. А. И. Лаваль (впоследствии Коссаковская) обратила внимание на обилие крови и ран в стихах Шевырева 1828 года.

Булгарин, имевший особые счеты с Шевыревым как критиком, многократно писал о его стихотворениях, придираясь к словам, вскрывая общепринятые в 20-е годы поэтические условности, а главным образом нападая на язык, на словесную нагроможденность, накрученность образов и сравнений, являющихся, по выражению Киреевского, результатом «богатства мысли». Вот некоторые примеры, приведенные Булгариным:

Что эгоизм есть первый капитал,
Его Ломбард в моей душе бездонной...

(«Журналист и злой дух»)

Чернила растворив насмешкой ядовитой...

(Там же)

Клейменный убийца у берега сидит...

(«Наин»)

Лишь изредка искра из темных очей
Мелькнет — и осветит ресницы...

(Там же)

О стихотворениях «Мысль» Булгарин острит: «В главе зерно! У зерна — рамена, из зерна — кедр, под кедром — черви времен, трупы царств без сил, миллион могил, миллион колыбелей и какой-то истлевший» — «убийственная поэзия». ² О «Таинстве Дружбы» он писал: «Стихотворение соиздателя Московского Вестника, г. Шевырева «Таинство дружбы», есть образец излишний расстроенного воображения и свихнутого вкуса. Автор говорит, что друг сделал ему в сердце р а н у, и проводит время, смотря через эту сердечную скважину в сердце, чтоб узнать, что там происходит, и чтоб тотчас привести в порядок дела сердечные, когда они расстроятся. Пожалуй, кто-нибудь выдумает еще скважину в голове! Это было бы даже полезнее, ибо чрез эту скважину можно было бы наполнить пустоту». ³

Это нагромождение образов и сравнений, появившееся у Шевырева в погоне за насыщенным стихом, «антиэстетический» характер этих образов, резкие прозаизмы языка, — все это, конечно, было направлено против плавной и ясной поэзии и по существу открывало дорогу для Бенедиктова. ⁴ И неслучайно Бенедиктов воспринимался современниками (и Шевыревым в том числе) как «поэт мысли». То, что у Шевырева явилось внешним выражением действительно философской лирики, что было органически связано с новой поэтической системой, заставляло искать за словесной нагроможденностью Бенедиктова большие философские обобщения.

¹ «Старина и Новизна», кн. 12, М., 1907, стр. 331—332.

² «Сев. Пчела», 1828, № 58, 15 мая.

³ «Сын Отечества» и «Сев. Архив», 1829, т. I, № 3, стр. 180.

⁴ Ср. работу о Бенедиктове Л. Я. Гинзбург в книге «Стихотворения Бенедиктова», Большая серия «Библиотеки поэта».

исключениями, являет картину полного падения его поэтического дарования.

Самое выступление Шевырева в печати относится к 1820 году, когда Шевыреву еще не было четырнадцати лет. Он был в это время воспитанником Университетского благородного пансиона, и его стихи целиком отражают характерное для пансионского воспитания мировоззрение.

Он пишет самые заурядные оды, послания, элегии, проникнутые ходячей моралью, любовью к добру и презрением к злу, прославлением дружбы, религии и мирной, честной жизни, отрешенной от сует большого света.

Его ранние вещи чаще всего именуются гимнами: гимн религии, гимн воскресенью, гимн солнцу и т. д. По существу это типичные оды на отвлеченные темы или на случай, пронизанные дворянской моралью, успешно внедряемой в воспитанников Университетским пансионом. Все это — заурядная мораль, заурядный возвышенный язык, «парение чувств», натянутость, надутость, искусственность умиряющего стиля.

Менее характерны для раннего Шевырева элегии, но и они посвящены той же ходячей элегической тематике семнадцатилетних юношей, над которой позже так зло издевались и «любомудры», и Кюхельбекер, и сам Шевырев.

В 1823 году Шевырев сошелся с кружком Раича и с «любомудрами». Занятия немецкой философией и поэзией и теоретические вопросы литературы, несомненно занимавшие умы литературной молодежи, уже очень скоро сказываются на его стихах. Вместо переводов из Руссо, появляются первые его переводы из Шиллера и Гёдера, а оригинальные стихотворения меняют жанровое лицо.

В 1824 году Кюхельбекер написал свою известную статью об оде и элегии. Для Кюхельбекера (как и для других литераторов-декабристов) ода стала не столько произведением высокого жанра, сколько произведением высокой, серьезной тематики. Именно в этом общность взглядов его и «любомудров», именно это давало возможность ему выпускать «Мнемозину» совместно с В. Ф. Одоевским.

История шевыревских од наглядно демонстрирует, как ода постепенно теряла свои жанровые признаки и становилась в один ряд с другими стихотворениями, наследниками других жанров, в качестве стихотворения на значительную и серьезную тему.

К 1825 году относится шевыревское «Я есмь», по своей генеалогии тоже восходящее к оде, но уже не воспринимаемое как ода. Это — стихотворение с заостренной философской тематикой, произведение «внежанровое».

В этом смысле любопытен у Шевырева «Каин», написанный в том же году. По традициям своего стиха (чередование четырех- и трехстопного амфибрахия) и по своей сюжетной организованности «Каин» восходит к жанру баллад, перенесенных на русскую почву Жуковским. Однако жанровые признаки баллады представлены в «Каине» только как рудименты жанра: баллада есть лиро-эпический жанр, а эпоса в «Каине» нет и помину. Это лирическое стихотворение, посвященное душевным переживаниям байронического героя. Ужасному величию переживаний братоубийцы соответствует и возвышенный словарь стихотворения.

Рудименты прежних поэтических жанров очень ясно видны еще в его стихотворении «Первый вечер по изгнании Адама». В более

ранних вариантах это стихотворение имело еще подзаголовок «Драматический отрывок»: это сплошной монолог Адама, дважды прерываемый типичными сценическими ремарками.

Лирическое стихотворение нового типа имело образцы и в западной — именно в немецкой романтической поэзии. Ваккенродер, Новалис, Эйхендорф в своих прозаических произведениях создали особый тип романтического героя, выражающего время от времени свои настроения стихами. Таков Иосиф Берлингер, таков Генрих фон Офтердинген, таков герой «Дневника бездельника» Эйхендорфа. Создание поэтического лица, лирического субъекта в таких произведениях было облегчено до крайности: в самом тексте повестей были заложены мотивировки произнесения того или иного лирического монолога.¹ В этой поэзии мы найдем и ремарки и объяснительные подзаголовки, ориентирующие читателя в стихотворном тексте (ср. «Портреты живописцев» Ваккенродера, переведенные Шевыревым). У Шиллера и Гете тоже можно найти немало образцов для оригинальных русских романтиков. И все же, думается, было бы глубоко ошибочно видеть в русском лирическом стихотворении одно лишь западное влияние.

Самый жанровый термин «лирическое стихотворение» появился позднее. В 20-е годы «лирическое стихотворение» не имеет ни имени, ни рода. Веневитинов и Шевырев называют его просто «пиеса», то есть вещь, произведение. Очень часто его называют «стихотворение», то есть произведение в стихах, — самое общее и ничего не говорящее определение: так, например, Пушкин обозначает шевыревскую «Мысль». В протоколах Общества Любителей Российской Словесности и на обложках журналов употребляли те же термины: «стихотворение» или «пиеса». Отдел «Лирических стихотворений» мы встречаем только в «Мнемозине» (ч. IV, оглавление). Но общепотребительным понятие «лирического стихотворения» становится значительно позднее — в критике 40-х годов и в истории литературы во второй половине XIX века.

3

В поэтике карамзинистов внешний мир рассматривался, по выражению Н. М. Карамзина, как «зеркало души». Так, часто в элегиях разнородные картины природы мотивированы разными ощущениями лирического героя. В системе «любомудров» природа, по выражению И. В. Киреевского, — «лишь клавиши для струн сердца». Переходы предметного мира в лирическом стихотворении должны вызвать в читателе стройные переходы мыслей и чувств.

Сопоставления предметных словесных масс у «любомудров» поэтому метафоричны. Метафора, сравнение им необходимы как переводы рельсовой стрелки. Так, у Веневитинова в «Трех розах» описываются роза-цветок, утренняя заря и девичий румянец. В «Трех участках» сопоставляются судьбы государственного мужа, поэта и рядового, беспечного юноши. «К изображению Урании» представляет метафорические звезды поэзии, надежды, любви, дружбы и душевного счастья.

Поэтическая мысль, связываясь с лирическим субъектом, становилась под знак философского раздумья. Приемы логического

¹ Ср. ниже прим. к шевыревским переводам из Ваккенродера (стр. 218).

Тем интереснее проследить, как отнесся к шевыревской реформе сам Пушкин.

Об отзывах Пушкина мы узнаем из переписки друзей Шевырева. «Пушкин очень доволен, но, решительно не любя Тасса, умоляет тебя приняться за Данта». «Мне надо написать к нему умное и большое письмо» — говорит он, — но, кочевой, я так не привык еще к оседлой жизни, что не знаю, как и когда приниматься за дело» — сообщил Шевыреву Погодин.¹

Шевырев писал об этом Соболевскому: «Пушкину понравились мои октавы, но он просит не переводить Тасса, которого не любит».²

Соболевский, повидимому, получил еще дополнительные сведения о пушкинских впечатлениях, потому что отозвался: «Чья вышла правда? Моя! Шевырев, переводит Ариоста, а не Тасса, или переводит Данта; и Пушкин то ж толкует. Эка охота состязаться с Раичем и Шишковым и Москатильниковым и Мерзляковым».³

Между тем, к Шевыреву поступило еще одно сообщение о пушкинских впечатлениях. А. В. Веневитинов, которого Шевырев просил информировать его, «что будут говорить», и с которым поделился своими соображениями об октавах, сообщил Шевыреву 14 августа 1831 года: «Я пишу княгине, что здешние литераторы много толкуют о твоих октавах. Весь же круг этих в великом граде Царском Селе состоит из Жуковского и Пушкина (маковки нашего Парнаса). Последний тебе много кланяется и благодарит за твою мне неизвестное к нему послание, на которое он тебе непременно будет отвечать, как скоро протрезвится от своей свадьбы. Впрочем, глядя на его милую жену, он, мне кажется, еще долго будет пьян. В рассуждениях же октав он уверяет, что эта статья возбудила в нем тьму новых мыслей и желаний; но что, несмотря на то, он непременно войдет в некоторое состязание с тобою⁴ и тебе же самому предложит свои возражения».⁵

Наконец, осенью 1832 года Шевырев вернулся в Москву, и уже первые встречи с Пушкиным обнаружили, что дело вовсе не в Тассе. Встреча вскрыла принципиальные расхождения по вопросу о судьбах русского стиха. «Восстает против моих элизий», — сообщил Шевырев Соболевскому об этих встречах.⁶ Отношение Пушкина к шевыревским октавам следует сопоставить с отзывами старших карамзинистов с одной стороны, и молодого поколения — с другой. Только тогда оно получит свое историческое звучание.

И. И. Дмитриев, глубоко уязвленный, писал об октавах Шевырева к П. А. Вяземскому: «Профессор Шевырев... давно уже похоронил не только нашу братью стариков, но, не прогневайтесь, и вас, и Батюшкова, и даже Пушкина. Г. профессор объявил, что наш чопорный (это модное слово) метр и наш чопорный язык поэзии нигде не годятся, монотонны (также любимое слово), для

¹ Письмо от 11 мая 1831 г., «Русск. Архив», 1882, кн. 3 стр. 185. Кавычки пушкинских слов — по автографу. Письма Погодина к Шевыреву. Архив Шевырева, ГПБ.

² Письмо от 18/30 мая 1831. «Русск. Архив», 1909, кн. 2, стр. 746.

³ Письмо Соболевского к Шевыреву от 4 октября 1831 г., «Русск. Архив», 1909, № 7, стр. 501.

⁴ Намек на «Домик в Коломне».

⁵ Письмо А. В. Веневитинова к Шевыреву, Архив Шевырева, ГПБ. Публикуется впервые.

⁶ Письмо от 6 октября 1832, из Москвы, «Лит. Насл.», № 16—18, 1934, стр. 750.

образца же выдал в Наблюдателе перевод в своих октавах VII песни Освобожденного Иерусалима... Как бы то ни было, но мы отныне, по словам его, уже не существуем для воспитанников Московского университета»¹. Вяземский ответил И. Дмитриеву: «Я совершенно согласен с вами в отношении к переводу Шевырева... Жаль мне, что Шевырев пустился на подобную проказу, потому что в нем есть ум, знание, способность и, держась дороги своей, мог бы он идти хорошо и далеко. Он не поэт, а литератор вроде Баранта. Критические статьи его всегда заслуживают внимания. Но журналист он также неудачный».²

Совсем другое впечатление произвели октавы в кругах «любомудров». «Октавы твои — мысль прекрасная и опыт блистательный, — писал Шевыреву Погодин, — читал и перечитывал их с большим удовольствием, а совершенства, удовлетворения полного жду на третьей, на четвертой песне. Теперь один у тебя недостаток по моему: вольности твои еще искусственные, неестественные. Ты не слился еще с своим намерением, и потому часто ведутся и долго стихи правильные, то есть прежние, и хорей вместо ямба мелькает только изредка, как будто только там, где у тебя сей последний не навертывался на язык. [Сверху надпись: «хорей, трехсложная рифма на запредпоследнем слоге».] И потому редкое уклонение кажется неправильностью, оскорбляет ухо. Но когда, поупражнявшись еще в переводе, ты позабудешь прежнюю свою настройку, позабудешь прежние правильности и свое намерение вводить новое, а просто начнешь рассказывать Тассовы подвиги, и когда все стихи будут у тебя сходны между собою, тогда поздравляю тебя с совершенной победой и славным завоеванием для русской литературы, до которого тебе очень недалеко, ибо главное сделано».³

Ту же точку зрения высказал Шевыреву и А. В. Веневитинов: «Я думаю, что ты совершенно прав в своей теории, но не довольно оправдал это твоим переводом, писанным прекрасными ямбическими стихами... Исключая приведенного тобою в пример стиха, все прочие, мне кажется, писаны обыкновенным у нас стопным размером. Я знаю, что моя искренность тебя не оскорбит».

Таким образом, попытка Шевырева преобразовать русское стихосложение казалась карамзинистам слишком резкой, а «любомудрам» — недостаточно резкой и последовательной. Особенно важно сопоставить отношение к метрическим экспериментам Шевырева карамзинистов и «любомудров» с пушкинским отношением к октаве. Пушкину был ясен схоластический характер метрических экспериментов Шевырева. Очевидно, при личной встрече после возвращения Шевырева из Италии Пушкин окончательно выяснил для себя масштаб и значение теоретических построений Шевырева в этой области. Самый опыт Шевырева казался Пушкину «интересным», но стремление уничтожить силлабо-тоническую систему русского стиха путем возвращения русской поэзии к силлабическому строю, то есть попытка возвратит стих ко временам Кантемира и Тредьяковского, конечно, не могла не быть осуждена Пушкиным, которому не могла не быть враждебной также и попытка механически навязать русской поэзии систему итальянского стихо-

¹ «Старина и Новизна», кн. 2, 1898, стр. 182.

² «Русск. Архив», 1868, стр. 642.

³ Письмо М. Погодина к Шевыреву от 13 апреля 1831 г., Архив Шевырева, ГПБ.

сложения. Вот почему Пушкин восставал против октав Шевырева и осуждал самый путь, которым пошел Шевырев в поисках обновления русской просодии.

У Пушкина была своя дорога искания новых путей для русской литературы в начале 30-х годов, — экспериментальная работа Шевырева нового ему давала ничего не могла. Дорога Пушкина шла не в сторону Шевырева, а в сторону Белинского. Это и была дорога развития русской литературы.

В сущности, вся работа Шевырева как поэта во второй половине 20-х годов заключалась в борьбе с Пушкиным и его школой. Пушкина он воспринимает как представителя гармонической «гладкой» поэзии, поэзии, которая звучностью своей убаюкивает слух и освобождает от необходимости мыслить в стихах.

В 1830 году Шевырев написал эпиграмму («Вменяешь в грех ты мне мой темный стих...»), которая под заглавием «Сравнение» появилась в «Литературной Газете». ¹ Рукопись этой эпиграммы, сохранившаяся в ИРЛИ, ² показывает, однако, что заглавие это придумано Дельвигом. В рукописи первоначальное заглавие зачеркнуто, а рядом написано: «Вам предоставляю окрестить». Зачеркнутое же первоначальное заглавие с большой уверенностью читается как «Пушкину».

«Чистой водице» пушкинского стиха Шевырев противопоставляет, в своей эпиграмме, «густую бурду» своего темного, но якобы ошьяняющего мышлею стиха.

Это основное отношение Шевырева к пушкинской поэзии — отношение, насколько можно судить по сохранившимся материалам, никогда не изменявшееся.

В 1828 году он различает «два противоположные направления поэзии, ясными и резкими чертами обозначенные. Один род ее изображает жизнь человеческую с ее стихиями, как то: характерами, действиями, случаями, чувствами и проч. до малейшей подробности... Другая поэзия употребляет происшествие одним средством, одною рамкою, для того только, чтоб вместить в нем идею высокую или сильное чувство, или несколько богатых минут жизни, в которые мы живем всеми силами души нашей». ³

К первому роду Шевырев относит Гете, Вальтер Скотта, Вашингтона Ирвинга, Купера, Манзони и «нашего Пушкина». Ко второму — Шиллера, Байрона, Мура, Жуковского, Мицкевича, Раупаха. Пушкин 1828 года (т. е. для Шевырева — три главы «Евгения Онегина», «Борис Годунов», «Граф Нулин», «Цыгане», «Бахчисарайский фонтан») — полная противоположность Мицкевича («Крымские сонеты», но главным образом, конечно, «Конрад Валленрод»). Пушкин в его глазах — поэт описания, а не мысли.

Наиболее четкую и полную формулировку своего взгляда на Пушкина Шевырев дал в известном «Перечне Наблюдателя» уже по смерти поэта. Здесь мы читаем: «Великий мастер в отделке, всегда оконченный до возможной полноты и потому первый художник русского стиха..., Пушкин... почти всегда довольствовался одним эскизом в изобретении... Эскиз был стихисю неудержного Пушкина: строгость и полнота формы, доведенной им до высшей степени со-

¹ «Лит. Газета», 1830, т. II, стр. 161.

² В письме Шевырева к А. А. Дельвигу, Дашк. Собр., ИРЛИ, Пачка «Письмо к изд. «Лит. Газеты» и два стихотворения».

³ Рец. на «Манфреда» Байрона, «Моск. Вестн.», 1828, ч. 10, стр. 57—58.

вершенства, которую он и унес с собою, как свою тайну, и всегда неполнота и неоконченность идеи в целом — вот его существенные признаки». ¹

Пушкин — мыслитель, исключительно остро и тонко ощущавший современность, разрешавший для себя сложнейшие вопросы исторической современности, явно не был понят Шевыревым, как не был понят и рядом других критиков: основная литература о «Медном всаднике» и «Полтаве», не говоря уже о ранних поэмах, в сущности, повторяет «тезис» Шевырева о громадном художнике и недостаточном мыслителе.

Литературное дело «любомудров» было направлено, в сущности, против Пушкина, громадное национальное значение которого они ощущали, но не понимали. Нигде, пожалуй, вся сложность их отношений к Пушкину не выступала более определенно, чем в шевыревском «Послании к А. С. Пушкину». Это одновременно и полемика и защита, величайшее уважение, признание национального значения Пушкина и в то же время острый выпад против «суетных печалей» формального мастерства, против мелкости «песенок и браней» (то есть эпиграмм), недостойных поэта такого масштаба. Дело поэта, по Шевыреву, — это патриотический подвиг. Пушкину поставлены в пример патриотические стихи Жуковского. О Жуковском говорят стихи:

... священная война
Звала язык на подвиг современный.

Дело Пушкина, по Шевыреву, тоже должно стать национальным подвигом: прогудеть «славою отчизны» на «Европейском вече».

Шевырев не понимал, что Пушкин давно уже поднялся до уровня тех больших общенародных задач искусства, которые Шевырев ему пытался нравоучительно представить, что Пушкин в своем творчестве уже выступал «колоколом во славу россиян». Не понимая широты пушкинского творчества, Шевырев думал навязать Пушкину романтико-идеалистическое понимание общенародного смысла искусства. Учиться у Шевырева Пушкину было нечему. В шевыревском «Послании» для Пушкина была ясна ограниченность романтической философской эстетики (положительные стороны романтизма были усвоены Пушкиным еще в начале 20-х годов). Вот почему принципиальное существо послания Шевырева, также как и вся его эстетика, в это время Пушкину откровенно враждебны.

Но, противопоставляя себя Пушкину, Шевырев как поэт неизбежно оказался обречен на историческую бесплодность. Эксперименты его не удались, он прекратил поэтическую работу и остался второстепенным поэтом в русской поэзии 20-х годов XIX века.

¹ «Моск. Паблюдатель», 1837, ч. 12, стр. 316.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1825—1831)

Я ЕСМЬ

Да будет! — был глагол творящий
Средь бездн ничтожества немых:
Из мрака смерти — свет живящий
Ответствует на глас, — и вмиг
Из волн ожившего эфира
Согласные светила мира
По гласу времени летят,
Стихии жизнью кипят,
Хор тварей звуками немymi
Ответ творящему воздал;
Но человек восстал над ними
И первым словом отвечал:

Я есмь! — и в сей глагол единый, совершенной
Слился нестройный тварей хор
И глас гармонии был отзыв во вселенной
И примирен стихий раздор.
И звук всесильного глагола
Достиг до горнего престола,
Отколе глас творящий был:
Ответу внял от века сущий
И в нем познал свой глас могущий
И рекшего благословил.

Мир бысть — прошли века, но в каждое мгновенье
Да будет! — оглашает свет,
И человек за всё творенье
Дает творящему ответ.
Быстрей, чем мысль в своем паренье,
Века ответ его передают векам:
Так на крылах грозы ужасной
Несется гром далекогласной
По неизмерным небесам
От облаков ко облакам.

Сим гласом жизни и свободы
Наук воздвигнут светлый храм,
Открыты тайны в нем природы,
И светит истина очам.
Там мудрость малый сонм предводит
Любимцев избранных ея
И по ступеням бытия
К началу вечному возводит.
Сим гласом в роковой борьбе
Муж доблести исполнен жаром,
Соперник мстительной судьбе,
Ответствует ее ударам.
Судьба бесщадная разит
И спле смертной изумилась;
Над жертвой смерть остановилась;
Гремит косою, и глас гремит.
Ни звук времен его не заглушит.
Великих нет, но подвиги их живы!
Над мраком воспарил их дух,
И славы дальные отзвуки
Потомства поражают слух.

Сим гласом держится святая прав свобода!
Я есмь! — гремит в устах народа
Перед престолами царей,
И чтут цари в законе строгом
Сей глас, благословенный богом.
В раздорах царств, на поле прей
Велик и силен и возвышен
Во звуке гневного оружия он слышен!
Стеклись два вопиства: где глас в сердцах сильнее,
Одушевлен любовью, раздастся,
Победа там несется!
Но выше он гремит, согласнее, звучней,
В порывах творческого чувства,
Им создан дивный мир искусства —
И с неба красота в лучах
Пред взором Гения явилась
И в звуках, образах, словах
Чудесной силой оживилась.
Как в миг создания вечный бог
Узрел себя в миророждении,

Престанет ли к нему стремиться?
Бежит души моей покой,
Меня сгубили сердца страсти;
Но силы духа! вы со мной —
Еще в моей паренье власти.
Рассейтесь, мрачные мечты,
Светлей, мой дух, в жилище праха,
Крепись — и воспари без страха
Ко храму вечной Красоты.

[1825]

ВОДЕВИЛЬ И ЕЛЕГИЯ

Разговор

Водевиль

Кто эта странница печальная? — откуда?
Зачем вся в трауре? — к чему туманит флер
Ее задумчивый, от слез потухший взор?
Но плакать так при всех не стыдно ли? Отсюда
Мне кажется мила... Поближе подойду —
Не ошибиться бы! В России на беду

Я без парижского лорнета

Смотреть уж не могу на круг большого света.
Посмотрим же: ай, ай! какой же я дурак!
Как может Водевиль так в лицах ошибаться!
Да рожки эдакой нельзя не испугаться;
Но, ах! — не в первый раз попался я впросак.

Какая бледность и убранство,
Гримасы скучные, притворное жеманство!
И плачет не хотя. — На сцену б годилась...
Лицо знакомое — мне кажется, в Париже
Встречался с нею я; но подойдем к ней ближе
И посмеемся для проказ.

Дерзну ль спросить, сударыня, я вас,
О чем вы плачете? дерзну ли я в несчастье
Принять, прелестная, живейшее участие
И вас утешить?

Елегия

Ах!

Я плачу, потому что слезы мне веселье.

В о д е в и л ь

(про себя)

Вот редкость!.. плачет от безделья!

(Ей)

По ком вы в трауре?

Е л е г и я

По милых, по мечтах,
По светлом призраке давно протекшей славы,

По юности и по любви!

Слеза горячая и вздох — мои забавы;

В унылой горести текут все дни мои.

Я поутру всегда влюбляюсь

И плачу с радости, пою про негу, лень;

Но в полдень я любви лишаюсь,

И снова мрачен день.

Чего желаю,

Сама не знаю,

О чем-то тайном я грущу,

Чего-то милого, небесного ищу;

В восторге я себя не понимаю

И с грустною душой в туманну даль лечу.

А вечером над холодной могилой

Стенаю я в стихах по милом иль по милой;

Но завтра снова влюблена,

А к вечеру опять грустна.

Морфея храм — мое жилище,

А мой Парнас — кладбище!

В о д е в и л ь

(про себя)

Ах, как она смешна! — (Ей) Скажите, неужли

Все вас в страданьи забывают?

Е л е г и я

Меня?.. меня не любят, — обожают:

Поэты сотнями за мною вслед рыдают,

А девушки кричат невинно: *c'est joli!*

Во многих я странах жила,

Цвела во Франции, в Германии пела.

Но признаюсь, нигде я не видала

Честей таких.

Хоть, правда, сегодѣя ль морозы,
Иль ласки частые поэтов записных
На девственных щеках мои сгубили розы;

Я, правда, иногда бледна,
Румянец не всегда с невинностью живою
Играет на лице; с умом я не дружна
И болью головной бываю я больна;

Зато, когда рыдают все со мною,
Зато как весело мне плакать от души!
Поэта ли создать? Скажу ему: пиши!
Стихами в честь мою в журналах все страницы
Наполнены — меня уважил русский вкус,

И в здешнем царстве муз
Я титулом почтена царицы.

В о д е в и л ь

(с усмешкой)

Дерзну ль узнать, кто ж вы?

Е л е г и я

Увы!

Один ты не узнал Елегин печальной;
Ужель не отгадал? мой голос погребальной...
Ах, бедненькой! нет, ты поэтом не рожден.

В о д е в и л ь

Как! вы Елегия! Я, право, изумлен!
Поэты вашею прельстились красотою;
В наш просвещенный век вам вслед бегут толпою,
И вам, сударыня, соперник Водевиль?

Е л е г и я

Соперник Водевиль? — Повеса тот французской,
Которой острою в глаза пускает пыль,
Быть русским думает, кафтан надевши русской,
Поэтам, комикам всем головы кружит
И ныне завладел пустынной русской сценой,

От чьих невежеств и обид
Рыдают Талія с бедняжкой Мельпоменой!
И он соперник мне... парижский этот шут,
Покамест всех прельстил он не своим нарядом;
Но блеск его пройдет чрез несколько минут —

В о д е в и л ь

К чему учтивости? — Я также слышал сам
Об вас, сударыня, что плачете притворно,
Что ваши рифмы—бред бессмысленной и вздорной.
И — что греха таить? — я слышал много раз,
Что будто на лице, сударыня, у вас
Блится накладной румянец. . .

Е л е г и я

Забылись вы, сударь... Я слышала сама,
Что вы для легкого французского ума
Приманчивы, а здесь на сцене — самозванец;
Что вы и дышите парижской остротой,
И весь ваш ум, признайтесь, выписной.
Слышала я, сударь, как вас переряжают
Плохие комики, с каким трудом ломают
Нерусский ваш язык, и что едва ль кому
Труд долгий удался; что будто потому
Над вами более смеются,
Что ваши остроты у нас не удаются.
К пустым стишкам слух русский не привык;
Не ваше ль обличал, признайтесь, самозванство
То исковерканный язык,
То ваше странное убранство?
Бывало всё бы так, да нет, чужой парик,
А уж бессмыслицы, что слово — то. . .

В о д е в и л ь

Пустое!

Ну, вам ли упрекать в бессмыслице меня!
В журналах вы уж верно вдвое
О ней заботились, чем я.
Но если вы пошли на ссоры,
То верьте — с завтрашнего дня
На сцену выведу все ваши бредни, вздоры —
И вам достанется! . .

Е л е г и я

Я тотчас соберу

Совет моих друзей-поэтов,
Повею ветерком знакомых им приветов
И вас в Елегии заране уморю.

И будет крепок наш союз.
Да что? — Моя пустая шутка
Сильнее во сто раз холодного рассудка;
А ваша нежная слеза
Так ослепит глупцам глаза,
Что над Елегией они про вкус забудут.
Под вашим ведомством да будут
Все роды разные стихов!
Морите, плачьте и рыдайте,
Вздыхайте, пойте и стенайте,
Стихами нежными журналы наводняйте;
Пусть мыслей нет, да больше звучных слов;
Хвалить меня не забывайте:
Да чур, мне не мешать! из всех моих жрецов
Я общества составлю,
Сдружу их с вашими — и всех
Друг друга их хвалить заставлю;
Но чтобы полон был успех,
Мы сыщем и Батте; он сочинит систему,
Изгонит из нее трагедию, поему,
Искусной новизной в глаза он бросит пыль,
С системой новой согласятся
И в здешнем царстве муз, поверьте, воцарятся
Елегия и Водевиль.

Е л е г и я

Прекрасно! — по рукам. — Смешите, как хотите,-
А вы, Грамматика и Логика, простите,
Простите, ум и здравый вкус;
Вам память вечная у Муз:
Вы перед нами замолчите. —
Вот и надгробная; но мне уже пора:
Один питомец мой вчера
Всё посылал ко мне моления:
Бедняжка просит вдохновенья
Воспеть собачки смерть — скончалась эта тварь;
Уж не мила ему денница! . .
Итак — прости, мой закулисный царь!

В о д е в и л ь

До завтрашнего дня, журнальная царица.
И мне пора: я сам
Спешу на сцену — нынче там

Уснули зрители в гостях у Мельпомены;
Пора их разбудить — долой ее со сцены!
[1825]

МОЙ ИДЕАЛ

Люблю не огонь твоих очей,
Не розы свежее дыханье,
Не звуки сладостных речей,
Не юных персей волнованье.

Люблю я то в твоих очах,
Что в них огнем любви пылает;
Люблю я то в твоих речах,
Что их живит, одушевляет.

«Люблю», — ты молвишь, чуть дыша,
Любовь горит в твоём дыханьи,
Трепещет вся твоя душа
При томном персей трепетаньи.

Душа в улыбке неземной,
Душа в движеньях, в разговоре,
Душа в понятном светлом взоре:
Ты любишь, ты живешь душой!

Тебя одну я понимаю,
Ты душу поняла мою:
В тебе не прелесть обожаю,
Нет! душу я люблю твою.

[1825]

К АГАТОНУ

(из матиссона)

Все дни твои светлы, как майское утро!
Там в миртовой роще, где резвый Амур
Психею лобзает, — увенчан цветами,
Ты Грациям жертвы приносишь младым.

Как Пестума розы, цветущий венок твой
Чело осеняет; но Геба пройдет!
Цветы ее с резвой весной умирают
Задолго до тихого запада дней.

Всё вянет! — венец Аполлона бессмертен!
Бери же смелее цветущий тот лавр,
Который столь нежно взлелеяла Муза
И ныне с улыбкой тебе подает.

Как древле над урной печальной Орфея,
Так некогда, друг мой, под сенью древес
Застонет над гробом твоим Филомела
И песнею нежной твой прах оживит.

[1825]

ЛИЛИЯ И РОЗА

(в альбом т. е. е—ой)

Средь пышных Флориных садов,
Где радость, мир и нега веют,
Сестры: Невинность и Любовь,
Два цвета милые лелеют.
Цвет первый, кроткой белизной
Сияя весело, как радость,
Пленяет прелестью живой
И очаровывает младость;
Поникши скромною главой
На светлый ток реки струистой,
Любуется во влаге чистой
Своею чистою красой:
То цвет невинности — Лилея.
Второй, роскошно пламенея
Пурпуровым зари огнем,
Как утро майское блистает,
И, над пылающим цветком
Воздушным плавая крылом,
Зефир прохладу навевает:
То Роза, то любви цвет.
Какой же из цветов милее?
Иль кроткая в тиши Лилея,
Иль Роза пламенная? Нет:
Не всё ль в цветах равно прекрасно?
Но вдвое нам милей они,
Когда цветут красой согласной,
И Роза, пышный цвет любви,
Сплетясь с Лилеей нежной, томной,
Чело венчает девы скромной.

Но где, у Флоры ли в садах,
В какой стране очарованья,
В роскошных блещет красотах
Чудесное цветов слиянье?
Не там, не там! У дев младых
Невинность и любовь согласно
В цветах возлюбленных своих
Всю чистоту сердец живых,
Всю душу выразили ясно.
Во цвете девственных ланит
Горящий пурпур Розы слит
Со снежной Лилий белизною,
И дивный цвет равно блестит
И кротостью и красотою.
Там светлая любовь нежней
Стыдливым пламенем играет,
И кроткой Лилией милей
Невинность пламень оттеняет.

[1825]

ВЕЧЕР

(из ШИЛЛЕРА)

Скройся, бог света! Нпвы желают
Влаги прохладной; смертный уныл;
Медленно идут томные кони:
Скройся, бог света, в струях!

Зри, кто из моря в волны кристалльны
С милой улыбкой друга манит!
Быстро помчались грозные кони
В царство богини морей!

К персям прекрасной Феб наклонился;
Правит браздами юный Амур;
Богу послушны гордые кони.
Плещутся резво в струях.

С звездного неба легкой стопою
Ночь прилетела, с нею любовь.
Феб почивает в неге роскошной;
Спите в объятьях любви!

[1825]

КАПИ

Над бездною водной, на мрачной скале,
Кинжалом упрека измучен,
Глаза приковавши к безмолвной земле,
И с жертвой своей неразлучен,
Клейменный убийца у берега сидит —
И Авеля имя в устах шевелит.

И взоры не смеют на небо взглянуть.
Там звезды, красуясь, блистают:
Не ими ль означен убитого путь,
Туда, где злодеев карают?
Не очи ли брата пылают в звездах?
Не кровь ли святая горит в небесах?

Всё тихо в природе; как в царстве теней,
Так мрачно в груди у убийцы;
Лишь изредка искра из темных очей
Мелькнет — и осветит ресницы!
Так молния блещет пред гласом громов,
Края зажигая седых облаков.

Вдруг туча воздвиглась, и вихрь застонал,
Глас бога в громах прокатился,
И вздрогнул убийца и затрепетал,
И гром в небесах повторился;
И вдруг неисчетные громы гремят,
И лес повторяет и волны — где брат?

И в сердце раздался убийственный гул,
Как в кладязе брошенный камень;
Перуна ужасней во взорах сверкнул
Пожара душевного пламень,
И вместе с громами он брата зовет,
И сам же убийца убийцу клянет.

Москва. 1825

ПЕРВЫЙ ВЕЧЕР ПО ИЗГНАНИИ АДАМА

Адам, встречая первый закат солнца, говорит Еве:

Смотри, мой друг, где солнце засияло?
Как мы из рая вышли в этот лес,

Как утешительно оно играло
На том краю лазоревых небес!
Зачем же сбросило лучи на горы?
Ужель оно светить не хочет нам?
Напрасно ли порадовало взоры
И скажет ли: «прости» печальным небесам?
Всё рассыпается по горным скатам;
Едва не скрылося за дальний неба край:
Ужель нас создал бог к одним утратам,
И солнце нам утратить, как и рай?
Но вот рассыпалось в бесчисленных лучах:
 Нет солнца, — пусто в небесах!
И вот *нежизнь*, и вот *небытиѣ*!
 Его изгнанье предвещало,
 О нем мне с трепетом сказало
Коварное предчувствие мое.
И солнце говорит! Оно ль обманет?
 Кто веровать учил меня
И в божий мир, и в жизнь, и в прелесть дня?
Оно — и нет его! — Так и меня не станет.

Темнеет лес, и почернели горы,
Умолкли птиц невидимые хоры,
Всё тихо — и душа моя тиха,
Не слышен в ней тяжелый глас греха,
 И легче стало отягченной;
 Прошел томительный недуг:
 Уж не опять ли в рай, мой друг?
Уж не простил ли нас творец вселенной?
Но нет, и тишина обманчива для нас;
Как в этой странной мгле душа полна сомнений!
Нет отзыва на глас моих мучений:
Ужель правдив предчувствий вещий глас?
Ужели в этой тьме угаснут все надежды?
Но клонит сон отягощенные вежды,
Но тьмой покрыт и лес и небосклон;
Скажи мне, друг, что это: смерть или сон?

Луна и звезды засветились: они пробуждаются

Где мы, мой друг? — Все тот же лес,
Но отчего ж светло? — Взгляни на свод небес:
О как торжественно, прекрасно!
О сколько там лучей горит!

В душе, как в небесах, так весело, так ясно!
Нет, не умрем: мне небо говорит.
О друг! что солнце нам скрывало?
Оно, изменное, прошло.
И сколько солнцев так светло,
Так радостно на небе воссияло!
И все они меня к себе зовут;
Я слышу, дружно вопиют:
Нас создал бог единый, бесконечный!
Как ты, мы в лоне бога вечны!
Я верю им, я вечен, смерти нет.
Бессмертия завет! О тайна ночи!
Тебя скрывал от взоров солнца свет,
Но в тьме светил ночных тебя познали очи!
О сколько там миров! везде, всегда живи,
Адам; твоя ли жизнь минется,
Когда душа в тебе отважно к небу рвется,
Когда полна к предвечному любви?
(1825)

ГЛАГОЛ ПРИРОДЫ

Гром грянул! — внимлешь ли глаголу
Природы гневной — сын земли?
Се! духи и горе и долу
Ее вещанья разнесли!
Она язык свой отрешает,
Громами тесный полнит слух
И человека вопрошает:
Не спит ли в нем бессмертный дух?

Мой дух — не спи! — на зов природы
Ответ торжественный воспой,
Что ты, небесный страж свободы,
Не дремлешь праздный и немой. —
И с благозвучными громами
Земные песни согласи
И вместе с горными духами
Ее глаголы разнеси.

Проснитесь, негой усыпленны!
В великий испытанья миг.
О горе! вас глагол вселенны

В дремоте ленистой застиг.
Вы вняли, вы затрепетали,
Страшитесь — не на суд ли вас?
Какой бы вы ответ сказали,
Когда б пробил вам грозный час.

Мой дух! там он сидит за тучей!
Завесу неба раздери
И прямо с верою могучей
К престолу славы воспарь.
И в огневую багряницу
Облекшись — ангелом сияй
И громоносную десницу
У милосердного лобзай.

[1825]

ПОРТРЕТЫ ЖИВОПИСЦЕВ

Муза вводит юного художника в портретную залу

Муза

Странствуй здесь с внимательной душою,
Наслаждайся взглядом на великих,
Что любовью сердце наполняют;
Видал ты их вечные творенья,
Здесь увидишь светлые их лица!

Юноша

Не знаю, что меня влечет!
Как сердце бьется
Навстречу сладким вдохновенных взорам!
Но стыдно мне! как вы меня смутили!
Все вы на одного меня
Свой важный взор таинственно вперили.
Ах, сердце говорит — вы мне родные,
Но я вас чужд!
О если б кисть!.. с каким бы я восторгом
Чудесным светом оживил
Высокие созданья мысли!
Но нет! едва, едва я смею
Взглянуть в лицо сим праотцам великим.
Я словно здесь в стране духов небесных;
Чудесные лучи от их изображений
Воспламенили душу

И дремлющее, трепетное чувство! . .
Как назывался этот старец,
Который смотрит так приветно
И полон вдохновенной думы,
Он в собственном величии почтет?

Муза

Сими длинными, драгоценными сединами,
Что волною на браду спустились,
Был украшен мудрый живописец,
Мой любимый, древний Леонардо,
Основатель Флорентинской школы.

Юноша

Венец тому, чья смелая рука
Бесценный образ сохранила!
Так, это он! его я вижу;
Он мыслит, он глубокий взор вперил
В необозримую природу,
Он жаждет нового познания!
Но кто сей муж?
Снаружи точно Леонардо,
Но глубже он проник в свой дух обильный!

Муза

Альбрехт Дюрер: — о! никто с любовью
Там в пустынях севера далеких
Не принес мне столько жертв прекрасных,
Так не чтит меня с моим искусством;
Он был прост и кроток как младенец.
Все в него его изображенья.

Юноша

Да, узнаю я внимательный труд,
Святое смирение великого мужа,
Бессмертную доблесть творящего духа!
Но назови скорее, кто сей грозный,
Чей дикий взор приводит в трепет душу,
Как взглянешь на него?

Муза

Им гордится светлая отчизна:
Это — перл Тосканы, удивленье

Своего потомства, это мощный
Михель Анжело Буонаротти.

Ю н о ш а

А, могучий! львиная в нем сила!
Он играет ужасом, великий. —
Но куда влечет меня желанье?
Всё окрест блуждает взор несытый,
Ищет, ищет, но нигде не видит.
У кого чело горит восторгом?
В чьих глазах сама сияет мудрость?
Вот один, вдали от всех, с брадою,
Вкруг главы небесное сиянье:
Верно он — божественный Рафаэль!

М у з а

Этот юноша был мой Рафаэль.

Ю н о ш а

Этот юноша? — О боже!
Кто узнает путь твой сокровенный!
Кто проникнет в чудеса искусства!
Этим светлым и невинным взглядом
Он взирал в своем творящем духе
На Христа и деву пресвятую,
На апостолов, на мудрых мира,
На кровавые земные битвы!
Он летами будто мне ровесник.
Он и в играх, кажется, всё мыслит;
Но и в мыслях, кажется, играет.
Он мне близок. . . сердце то сказала.
Нет, ни важность, ни высокой гений
Перед ним меня б не удержали.
Я б упал к нему на грудь, заплакал,
Зарыдал и с радости бы умер.
Ах! он примет бедного в объятья;
Он, как друг, он ласково утешит
Нежное взволнованное сердце
Трепетным восторгом удивленья.
Лучше плакать, — лейтесь, лейтесь, слезы!
О! в тебе, великий, воссияло
Чудным светом пред сынами мира
Горнее, небесное искусство.

[1825—1826]

* * *

О Цецилля святая!
Одинокый, изнывая,
Плачу горькою слезой.
Зри — от мира удаленный
И коленопреклоненный,
Я молюся пред тобой.

Звук от струн твоих чудесный
Окрыляет в мир небесный,
Отрывает от земли:
Успокой смятение крови,
Звуком песен и любви
Жажду сердца утоли.

Силу дай руке беспильной
Вызвать смело звук обильной
И восторгом оживи,
Чтоб смягчали струн отзвуки
Сердца гордые порывы
Сладкой грустию любви.

Окрылен тобой, воспряну
И под сводом храма гряну
В честь тебе, тобой избран,
Гимн, молитвой вдохновенный:
Да ликует сонм смиренный
Умленных христиан!

С оживленными струнами
Дай мне силу над сердцами,
С тайны душ покров сорви:
Чтоб я мог всевластным духом
Целый мир наполнить звуком
Вдохновенья и любви.

[1825—1826]

* * *

О, не знаю, что меня стесняет,
Что мой дух и давит и терзает,
Словно я от казни пль от грома
Рвусь, бегу из отческого дома?

Чем виновен, чем пред богом грешен
И за что страдаю безутешен?

Божий сын! ужель твоя отрада
Не смирит бунтующего ада,
Не пошлет святого откровенья
Разогнать души моей сомненья,
Не внушит безумцу мысли здравой
И стези мне не укажет правой?

О, спаси меня, любовь и сила!
Иль вели земле, чтоб поглотила,
А не то я — жертва чуждой власти:
Увлекут меня слепые страсти,
И, твоей лишенный благодати,
Убегу из отческих объятий.

[1825—1826]

* * *

Тихий трепет ожиданья
По полям и по волнам:
В блеске лунного сиянья —
Сладко нежиться мечтам.
Плещет и бьет волна за волною,
Небо в них светит звездной дугою.

В высотах, во влаге бездны
Звезды нам любовь зажгла;
Без любви и круги звездны
Поглотила б ночи мгла:
Ясной любовью детям природы —
Нам улыбнулся небо и воды.

Свет почил на нивах тучных,
Пальмы дремлют сладким сном,
Песнь любви в отзвуках звучных
Пронеслась в лесу густом:
И возвестило сладкое пенье
Прелесть любви и наслажденье.

[1825—1826]

ДВЕ ЧАШИ

Две чаши, други, нам дано:
Из них-то жизни Гений
Нам льет кипящее вино
Скорбей и наслаждений.
Но из одной мне пить, друзья,
Ни разу не случалось,
И в каждом чувстве бытия
С весельем грусть сливалась.

Подаст ли рок сосуд забот:
Слетает вмиг украдкой
Надежда и в него волеет
Вино отрады сладкой.
Упился ль счастьем в жизни я
И душу переполнил:
Но ах! миг райский бытия
О вечном ей напомнил.

И в мой сосуд отраву льет
Томящее желанье,
И пламень жажды душу жжет,
И ожило страданье.
Горит душа огнем полна,
Бессмертной в мире тесно,
И стонет сирая она
По родине небесной.

[1826]

СОЗДАНИЕ КРАСАВИЦЫ

Хвалу пою создателю
И неба и земли:
Он создал деву прелести
И создал для любви.
Он взял от пальмы стройныя
Прямой и гибкий стан
И дунул силой мощною:
Явился истукан.

И в розу света белую
Бездушный лик одел,

И долго с полной радостью
На милый цвет смотрел.

Он взял два млечных облачка,
Сгустил живой туман —
И персями лилейными
Украсил стройный стан.

Он снял кору древесную
С каштановых плодов,
И вот коса рассыпалась
Из шелковых влосов —

И пали шелковистые
С главы ее — волной
На выю, перси млечные,
На стан ее прямой.

Он влагу жизни светлую
С лучом небесным слил
И горнею любовию
Ту влагу освятил.

И влил в уста отверстые,
И вспыхнули уста,
Забилось сердце жизнью,
И кровь светла, чиста,

Струей румяной, пламенной
По жилам протекла —
И перси взволновались,
И дева ожила!

И долго сердце билось,
Душа рвалась из ней,
Ей тесен был покров земной,
И не было очей!

Но снял творец две звездочки
Из рая — все в лучах!
Зажглися, засветились
Небесные в очах!

И вмиг душа в них вспыхнула,
Я понял свет любви
И заключил прекрасную
В объятия мои.

[1826]

ПРЕКРАСНЫЙ ЦВЕТ

(ПЕСНЬ ЗАКЛЮЧЕННОГО РЫЦАРЯ)

Прелестный знаю я цветок,
К нему — мои желанья.
К нему стрелой, когда бы мог,
Из душного изгнанья.
И мне ли не грустить по нем?
Я на свободе тем цветком
Как часто утешался!

Напрасно с темной высоты
Блуждает взор унылый:
Внизу прекрасные цветы,
Но все не сердцу милый.
О кто б меня привел к нему!
Будь рыцарь он иль раб, тому
Я отдал бы полжизни.

Р о з а

Я здесь в красе своей цвету
Под окнами темницы:
Ты, верно, вспомнил красоту
Цветов молодой царицы.
О рыцарь с пламенной душой!
Я угадаю выбор твой —
Ты, верно, любишь розу.

Р ы ц а р ь

Твой пурпур славят все цветы,
Тобой красна долина:
Для юных дев дороже ты
Алмаза и рубина.
Они милей в твоем венке;
Но нет, я о другом цветке
Задумал, в сердце горе.

Л п л я

Да, роза пышная горда;
Я не хвалюсь пред нею,
Но девы любят иногда
И скромную лплею.
Кто в душу чистую глядит
И ею взоры веселит,
Тому я всех дороже.

Р ы ц а р ь

Хоть девственной моей души
Не тронули пороки,
Но ах! — затворником в тиши
Томлюся одинокий.
Хотя прекрасна ты собой,
Как дева с чистою душой,
Но есть цветок млее.

Г в о з д и к а

Не обо мне ль душа грустит?
Гвоздичку сам садовник
Лелеет, нежит и хранит.
Как млую любовник.
Семьей листочков стеснена,
Благоуханьем я полна,
Цветами всех богаче.

Р ы ц а р ь

Гвоздичка — правда — милый цвет!
Садовнику — отрада.
Ее то выставить на свет,
То скрыть от солнца надо.
Но нет, не пышный твой наряд
Пленяет мой печальный взгляд,
Мне мил цветочек скромный.

Ф и а л к а

Не я ли в мирной тишине?
Хоть и люблю молчанье,
Но нет — не вытерпелось мне.
Открой души желанье.
Коль я — так мне ли не грустить!

Мне высоко тебя дарить
Своим благоуханьем.

Рыцарь

Люблю я, скромница моя,
Твой запах благовонный;
Но по другой томлюся я
Тоской неугомонной.
Откроюсь вам в моих слезах:
Здесь на суровых крутизнах
Нет милого цветочка.

Далеко в грустной тишине
Верна и одинока
Подруга плачет обо мне
У светлого потока —
И голубой цветок — на грудь
Прижавши, молвит — *не забудь!* —
И тяжко мне сгрустнется;

И в сердце голос у меня
Невольно отзовется.
Любовь мне светит вместо дня
И ей пока живется.
Замрет ли дух, заносет грудь,
Но сердце молвит — *не забудь!*
И снова жизнью бьется.

[1826]

ЧЕТЫРЕ ВЕКА

(из ШИЛЛЕРА)

Как весело кубок бежит по рукам,
Как взоры пирующих ясны!
Но входит певец, — и к земным их дарам
Приносит дар неба прекрасный:
Без лиры, без песен и в горних странах
Не веселы боги на светлых пирах.

А в духе певца, как в чистом стекле,
Весь мир отразился цветущий:
Он зрел, что от века сбылось на земле,
Что век сокрывает грядущий;

Он в древнем совете богов заседал
И тайным движеньям созданья внимал;

Светло и прекрасно умеет развить
Картину роскошную жизни,
И силой искусства во храм превратить —
Земное жилище отчизны;
Он в хижину ль входит, в пустынный ли край:
С ним боги и целый божественный рай.

Как мощный сын Дия, от Дия избран,
Во щит круговидный и тесный
Вмещает всю землю и весь океан,
И небо, и звезды небесны,
Так в звуке едином любимца харит
Весь мир отзывается, вечность звучит.

Младенчество мира он юный видал,
Как люди в простых хоровах
Играючи жили; он всюду бывал —
Во всех временах и народах.
Четыре уж века певец проводил,
И пятый век мира при нем наступил.

Век первый — Сатурнов, то истины век!
Вчера проходило как *ныне*,
И пастырь беспечный живал человек,
Покорствуя доброй судьбине:
Он жил и любил, и к нему на пиры
Природа обильно носила дары.

Но труд возник: вызывают на бой
Драконы, — гиганты полнощны, —
И вслед за героем стремится герой,
И с слабым ратует мощный,
И кровь полилась. Скамандр запылал:
Но мир красоту и любовь обожал.

Победа возвысила радостный взор:
На брани отгрянул отзывной
Звук песен — и муз гармонический хор
Мир создан Поэзии дивной.

О век незабвенный небесной мечты!
Исчез не возвратно, о век красоты!

И свержены боги с небесных высот,
И пали столпы вековые:
Родился от девы сын божий — грядет
Пороки изгладить земные:
И волн нет чувствам, век страсти протек,
И думу замыслил в себе человек.

Уж кончен роскошный юности пир, —
И жажда вспыхнула к бою,
И рыцари скачут на пышный турнир,
Одеты железной броней.
Но дикая жизнь становилась мрачней,
Хоть солнце любви светило над ней.

И музы певали в укромной тиши
В простых и священных напевах;
И кротость чувств и прелесть души
Хранились и в женах и девах:
И пламя Поэзии вспыхнуло вновь,
Зажгла его прелесть души и любовь.

Поэты и девы! в дыханьи одном
Вы души свои сочетайте;
Вы правды и прелести светлым венцом
Прекрасную жизнь увенчайте:
О песнь и любовь! вами жизнь светла,
И силою вашей душа ожила.

[1827]

сон

Мне бог послал чудесный сон:
Преобразилась природа,
Гляжу — с заката и с восхода;
В единый миг на небосклон
Два солнца всходят лучезарных
В порфирах огненно-янтарных —
И над воскреснувшей землей
Чета светил по небокругу

Течет во сретенье друг другу.
Всё дышит жизнью двойной:
Два солнца отражают воды,
Два сердца бьют в груди природы —
И кровь ключом двойным течет
По жилам божия творенья,
И мир удвоенный живет —
В едином миге два мгновенья.

И с сердцем грудь полуразбитым
Дышала вдвое у меня, —
И *двум* очам полужакрытым
Тяжел был свет *двойного* дня.
Мой дух предчувствие томило:
Ударит полдень роковой,
Найдет светило на светило,
И сокрушительной войной
Небесны огласятся своды,
И море смерти и огня
Польется в жилы всей природы:
Не станет мира и меня. . .
И на последний мира стон
Последним вздохом я отвечу. —
Вот вижу роковую встречу,
Полудня слышу вещный звон:
Как будто молний миллионы
Мне опаляют ясный взор,
Как будто рвутся цепи гор,
Как будто твари слышны стоны. . .
От треска рухнувших небес
Мой слух содрогся и исчез.
Я бездыханный пал на землю.
Прошла гроза — очнулся — внемлю:
Звучит гармония небес,
Как будто надо мной незримы
Егову славят серафимы.
Я пробуждался ото сна —
И тихо открывались очи,
Как звезды в мраке бурной ночи, —
Взглянул горé: прошла война;
В долинах неба осиянных
Не видел я двух солнцев бранных —
И вылетел из сердца страх!

Прозрел я смелыми очами —
И видел: светлыми семьями
Сияли звезды в небесах.

[1827]

БЕСПРЕДЕЛЬНОСТЬ

(из ШИЛЛЕРА)

По морю вселенной направил я бег:
Там якорь мнил бросить, где видится брег
Пучины созданья,
Где жизни дыханья
Не слышно — где смолкла стихийная брань —
Где богом творенью поставлена грань.

Я видел, как юные звезды встают,
Путем вековечным по тверди текут,
Как дружно летели
К божественной цели. . .
Я дале — и взор оглянулся окрест,
И видел пространство, но не было звезд.

И ветра быстрее, быстрее лучей
Я в бездну ничтожества мчался бодрей.
И небо за мною
Оделося мглою. . .
Как волны потока, так сонмы планет
За странником мира кипели вослед.

И путник со мной повстречался тогда,
И вот вопрошает: «Товарищ, куда?» —
«К пределам вселенной
Мой путь неизменной:
Туда, где умолкла стихийная брань,
От века созданьям поставлена грань!» —

«Кинь якорь! пределов им нет пред тобой». —
«Их нет и за мною! путь кончен и твой!»
Свивай же ветрило,
О дух мой унылой,
И далее, смелый, лететь не дерзай,
И здесь же с отчаянья якорь бросай.

[1827]

К СТАРЦУ

Ты без власов, как солнце без лучей,
Стоишь торжественно в объятиях гробницы, —

И светлый луч бессмертия денницы
Сняет радостно в огне твоих очей.

Скажи — ты жизнь прочел земную,
И жизнь небесная отверста пред тобой. —

Скажи — ты разгадал ту тайну роковую,
Сокрытую от нас коварною судьбой? —

Нет тайны для тебя — сомненья мрачны думы

Не тмят спокойного чела:

Тебе не страшен гроба вид угрюмый,

И полночь вечности для глаз твоих светла?

Ты там одной стопой, другая не трепещет,

Твой взор один закрыт, другой надеждой блещет, —

Еще ль неверного меня

Колеблет робкое сомненье?

Здесь смерть — закат земного дня,

А там небесного блистает воскресенье!

[1827?]

ЧЕТЫРЕ НОВОСЕЛЬЯ

(НА НОВОСЕЛЬЕ И. В. КИРЕЕВСКОМУ)

Здорово, друг, на новоселье!

Да перейдет сюда с тобой

Твой верный друг и домовый —

Твое душевное веселье,

И да отсель отгонит прочь

Немую праздность — лени дочь,

Тоску и мертвое безделье!

Ты просишь дара, друг? — Изволь:

Живи средь нас, живи век целой,

Живи сто лет да дело делай!

Желанье дружбы в чувствах зрелой

Тебе да будет хлеб и соль!

Иду к тебе не на безделье;

Я задаю тебе вопрос,

Чтоб ты ответ мне произнес:

Ты на котором новоселье

Пируешь жизни светлый пир.

С тех пор как выглянул на мир?

Четыре раза, друг, известно —
Судила нам природа мать
На новоселье шировать.

Когда из родины небесной
В страну выходим бытия
(О том как часто слышал я
В часы бессонницы докучной
Рассказы няни неотлучной),
И, гости юные земли,
Не знаем мы, за чем пришли:
За делом или за бездельем,
И не глядя на жизни цель,
Мы чистым тешимся весельем —
Тогда нам служит *новосельем*
Родная грудь и колыбель.
Пока мы в силах не созрели.
Как сладко, беззаботно спим,
И как смирнехонько лежим,
Граждане тесной колыбели!
Вот из нее пускают нас
И под присмотром зорких глаз
Чуть ножки начинаем двигать,
Потом ходить, потом и прыгать,
Потом смелей — и с глаз долой
Мы скачем резвою ногой
Сначала в сад, а там и в поле,
А там на пир к любезной воле
Летим в дремучие леса,
На горы, в волны, в небеса...
Земля, огонь, эфир и волны,
Стихии мира нами полны:
Везде кочуем и живем,
Миры душою облетаем
И песни звучные поем
И ими небо оглашаем,
И населив собою мир,
Граждане мира и свободы,
На новоселье у природы
Пируем мы веселый пир.

Но вдруг среди цветов весны,
Меж пир, труда и наслажденья,

Мелькнет нам светлое виденье,
Как посетитель с вышины,
Как неземное вдохновенье.
Два солнца вспыхнут в двух очах.
Багрянец роз в уста сольется —
И девы в пламенных чертах
Вся прелесть мира разовьется,
И звезд блестящая краса,
И голубые небеса.
Тогда в восторге сердца ясном
Узришь пылающей душой
Весь мир гармонии святой
В одном создании прекрасном,
Его своим ты назовешь
И, позабыв о прежних братьях,
О мире — в пламенных объятьях
Ты всю вселенную сожмешь,
Обнимешь мир двойной душой,
Двойную жизнь зажжешь в крови,
Упьешься сладостью двойною
На новоселье у любви.

Того судьба благословляет,
Тот сын возлюбленный богов, —
Кого до гроба провожает
Подруга верная — любовь.
О том всех душ одно моление;
Но слух завистливой судьбы
Не внемлет пламенной мольбы...
Она разрушит наслаждение,
Воздвигнет над тобой грозу,
Перуном разорвет объятья
И выжмет из очей слезу...
Тогда сдержи в устах проклятья,
Не извергай из них хулы,
Но презрев ярость океана,
Сквозь мглу печального тумана,
Ты бодро раздвигай валы
Рукою смелой и свободной
И вслед за верой путеводном
На глас ее плыви, сплыви
Ко светлой пристани дум
Войди в нее: там мир богатый

Предстанет плачущим очам,
Там возвратишь свои утраты,
И счастье прочно будет там.
Все юной жизни впечатленья,
Все мимолетные виденья
И все сокровища твои,
Что собрал ты в златые годы
На новоселье у природы;
На новоселье у любви, —
Ты всё найдешь в твоей вселенной,
Вместишь всю жизнь в душе своей.
И вместо солнца будет в ней
Светить — в красе преображенной
Подруги образ возвращенной.
Тогда в самом себе, в тиши
Благоговенья, созерцанья,
Ты утолишь свои желанья
На новоселье у души.

Итак, мой друг, я жду ответу:
Будь верен дружества завету,
Душою чистой безо лжи
Святую правду мне скажи:
Ты на котором новоселье
В гостях у жизни пьешь веселье?
Смелее, друг! — Коль на втором,
Скорее третьего желаю;
А если ты уже на нем,
То чистым сердцем поздравляю.
Господь тебя благослови
На новоселье у любви!
Пируй у ней, пируй, мой милый,
И весели живую кровь,
И проводи тебя любовь
Спокойно, верно до могилы.

[1827]

ЗВУКИ

(к Н. Н.)

Три языка всевышний нам послал,
Чтоб выражать души святыя чувства:
Как счастлив тот, кто от него принял
И душу ангела и дар искусства.

Один язык *цветами* говорит:
Он прелести весны живописует,
Лазурь небес, красу земных харит, —
Он взорам мил, он взоры очарует.

Он оттенит все милые черты,
Напомнит вам предмет душой любимой,
Но умолчит про сердца красоты,
Не выскажет души невыразимой.

Другой язык *словами* говорит,
Простую речь в гармонию сливает
И сладостной мелодией звучит
И скрытое в душе изображает.

Он мне знаком: на нем я лепетал,
Беседовал в дни юные с мечтами;
Но много чувств я в сердце испытал
И их не мог изобразить словами.

Но есть язык прекраснее того:
Он вам знаком, — о нем себя спросите,
Не знаю — где слышали вы его,
Но вы на нем так сладко говорите.

Кто научил вас трогать им до слез?
Кто шепчет вам те сладостные *звуки*,
В которых вы и радости небес
И скорбь души — земные сердца мучи, —

Всё скажете — и всё душа поймет,
И каждый звук в ней чувством отзовется:
Вас слушая, печаль слезу отрет,
А радость вдвое улыбнется.

Родились вы под счастливой звездой,
Вам послан дар прекрасного искусства
И с ясною, чувствительной душой
Вам дан язык для выраженья чувства.

[1827]

ОШИБКА

(м. д. х<оврин>ой)

Здесь все мечта, сказал поэт;
Здесь все ошибка, я прибавлю.
Мечту прославил целый свет,
Ошибку я теперь прославлю.
Кто ловит мастерски людей?
Ошибка. — Ум хитер и гибок,
Но будь он всех умов хитрей,
А всё не избежит ошибок.

Взгляните: Фирс и стар и сед,
В нем жизнь давно уж переспела,
Душа его под старость лет
Выглядывает вон из тела.
Судьба, забыв его грехи,
Любви потешила улыбкой, —
И Фирс попался в женихи,
Увы! невестиной ошибкой.

Алинушка была скромна,
Любила сельские пустыни;
Хоть не дурна, хотя умна,
Но и не мыслила в графини;
Вдруг очутилась из пустынь
На белведере знати зыбкой,
И скромнипа в числе графинь
Гордится мужниной ошибкой.

Чтоб все ошибки перечесть,
Раскройте света панораму;
Где мы — там и ошибки есть:
Все подражатели Адаму.
Софисты, свой создав кумир,
К безбожью ум направля гибкой,
В безумстве и себя и мир
Назвали божией ошибкой.

Уж не один сказал поэт,
Что надо верить скептицизму;
Мы, кажется, на целый свет
Глядим сквозь радужную призму

Предубеждений — и порой,
Как дети видим мы с улыбкой
И ловим жадною душой,
Что нам понравилось ошибкой.

В обмане дерзком каюсь вам:
Свои стихи чужими выдал,
И звучным именем стихам
Чего-то сладостного придал,
И вы, поверивши мне в том,
Прочли их с нежною улыбкой,
И в ваш классический альбом
Попал я счастливой ошибкой.

ГУЛЯНЬЕ

(отрывок из послания к Н. Н.)

Тебе тепло, любезный мой,
Тебя лелеет мать-природа,
А я средь пыли городской
Люблю рассматривать порой
Веселья русского народа.
Чтоб пробудить остывший жар,
Рассеять темное мечтанье,
Иду на светлое гулянье,
На многолюдный бульвар.
Иной полумудрец тяжелой
Скучает жизнь веселой
И, верный раб своих трудов,
Не любит шумного кочевья,
Где, говоря с его же слов,
Меж мертвых липовых дерев
Живые движутся деревья.
Нет, друг! я к праздникам не строг:
Соскучившись в печальной келье,
Я, не жалея резвых ног,
Спешу на вольное веселье...

Последний луч зари погас,
И ярко запылали площадки.

Толпа бежит. Кареты, дрожки
Стоят, колесами сцепясь.
Прилив веселого народа
Кипит, волнуется у входа,
И я к нему бегу скорей.
Как живо пестрое собранье,
Нетерпеливое толканье
О входе спорящих людей.
Иному шуту колесница
Есть право верное на вход,
И на гуляньях в свой черед
Глядит на вещи, не на лица.
Счастливы, кто хитростью вошел,
Кого невинно проглядели!
Меня минует произвол
По праву шляпы и шинели,
И увлечен волной толпы,
Как все, без мысли и без цели,
Влачу я нехотя стопы!
Как это весело и чудно!
Не знают все, куда идут;
Ленив ходить — идти не трудно,
Не двинься с места — понесут!
«Ходи, гляди, и только дела!
Как это нам не надоело?» —
От многих часто слышу я.
Нет! Наш народ сидеть не любит!
Не сидень он — и дней не губит
В позорной лени бытия.
Стихия русского движенье!
Он любит скачку, рысаков,
И травлю зайцев и волков,
И пляски шумное круженье.
Смотри, как ловкою ногой,
В разгулье смелый и живой,
Через канат изволит прыгать
Иль по горам в салазках шмыгать,
На кулаки друзей сзывать
И потчевать врага десницей,
Иль на качелях вольной птицей
Без крыльев в воздухе летать.
Ему ль забыть свое катанье,
Свое раздольное гулянье?

Не станет с трубкой он мечтать,
Сложивши ножки как индеец:
Пол-азиат, пол-европеец,
Он любит ходя созерцать.

Забылся я в своем мечтанье!
Передо мной теперь гулянье.
И разбежался быстрый взгляд!
Гляжу — в потьмах осенней ночи
Мелькают пламенные очи,
Звездами яркими горят.
Вот цепь красавиц выступает:
Соперницы, рука с рукой.
Они идут, — и взор живой
Приличной гордостью блистает.
Пестреют перья и цветы,
Убранства пышной красоты,
И ленты с зэфиром играют
И нас, играя, задевают.
Прошел я раз, иду опять —
И вижу — та же вереница,
Встречаю я всё те же лица,
И как их весело встречать
В толпе нарядной лиц постылых!
Ты их душою полюбил,
Не раз потерянных следил,
Но ах! — лишь выбрал сердцу милых,
Глядишь и ждешь, но милых нет!
За ними ты... простыл и след...
В ушах раздался стук колесный,
И ты клянешь разъезд несносный!..

Не так ли в жизни у людей,
Мой друг? — От частых повторений
Любезных игр и наслаждений
Нам жизнь становится милей;
Но мы едва ее узнали,
Едва лишь жить душою стали,
Как смерть уж бьет разлуки час
И с пира жизни гонит нас.

/1827/

[УКРАИНСКАЯ ПЕСНЯ]

Над Дунаем над рекой
Буря явор закачала;
Мать над сыном зарыдала:
«Сын Иванушка родной,
Как тебя я родила,
Целы ночки не спала;
Вырастал ли, милый мой,
Утешалась я тобой;
Как тебя ли, друг, женю,
Созову на пир родню;
А поедешь на войну,
Тут-то плакать я начну». —
«Не печалься, мать, заране,
Не крушися об Иване;
Три трубы мне снаряжай,
Все из меди выливай,
А четвертую большую
Вылей чисто золотую.
Как я в первую трубу
Заиграю, затрублю, —
Снаряжу на брань коня;
Как в другую заиграю,
На коне уж буду я,
А как в третью заиграю,
Проводи с двора меня.
А в четверту затрублю
Середь войска на полях
С острой саблею в руках».

/1827/

ЕЛЕНА

ОТРЫВОК ИЗ МЕЖДУДЕЙСТВИЯ К ФАУСТУ

Л и н ц е й

*(с толпою воинов приносит сокровища и кладет их
к стопам Елены, сидящей на троне)*

Твой раб, царица, пред тобой!
Он молит милости одной:
Да скажет мне твой светлый взгляд:
«Ты нищ как раб, как царь богат!»

Кто ныне я — и кто я был?
Я взглядом землю покори,
Но молния моих очей
Притуплена красой твоей.

С Востока грозно мы пришли —
И Запад стерт с лица земли,
И за народом шел народ,
Не зная, кто вослед идет.

И первый пал, возник другой,
Сменен и тот своей чредой: —
Возрос прилив враждебных сил,
И миллионы меч скосил.

Мы бурно, весело текли,
Мы брали всё — цари земли!
Где я сегодня дань собирал,
Там завтра враг мой пировал.

Бывало, ринемся в страну:
Все наше, — тот берет жену,
Иной вола, другой коня,
Иное тешило меня.

Я всюду редкого искал,
Я все сокровища собирал, —
И чем товарищ мой владел,
На то глядеть я не хотел.

Не миновало ни серебро,
Ни злато взора моего:
Все осязал мой чуткий взгляд —
И под землей сокрытый клад,

И груды камней дорогих
Похитил я из кладовых;
Но на груди твоей расцвёт
Один смарагд заслужит честь.

Привесь к воскраиям ушей
Дары блестящие морей:

Не тронь рубина — пристыдит
Его огонь твоих ланит.

Богатства, взятые войной,
Я повергаю пред тобой:
Взгляни на жатву многих сеч,
Ее пожал кровавый меч.

Тут много золота, — но вели,
Я все сберу с лица земли —
И взыдут посреди двора
Громады золота и серебра.

Едва вступила ты на трон,
К тебе идут со всех сторон
Богатство, разум, власть и труд,
И дань покорную несут.

Я мнил безумный — все мое,
Но ты пришла — и все твое,
И все дары труда, войны
Цены высокой лишены.

Исчезли сладкие мечты!
Взгляни, царица красоты,
И взглядом нежным и живым
Дай цену вновь дарам моим.

Ф а у с т

Возьми отсель стяжанья смелой брани;
Твой славен дар, но ей не нужен он.
Здесь все ее: особые дары
Царице ты напрасно предлагаешь.
Иди, сberi сокровища земли;
Создай здесь храм великолепный, чудный,
Невиданный досель. — Пусть эти своды,
Как небеса, лазурью заблестают!
Раскинь вокруг страну очарованья;
Пойдет она — стели ковры цветов,
Да красота одних цветов коснется:
И вей вокруг прохладою древесной,
Да солнца луч очей не тяготит.

Л п н ц е й

Вождь — и власть твоя мечта:
Выше власти красота!
Здесь владычица сердец
Отнимает твой венец;
Бранный дух в героях спит,
Смирный меч в ножнах лежит!
Пред огнем ее очей
Бледен свет дневных лучей;
Пред богатством красоты
Все сокровища мечты.

(Уходит)

Е л е н а

(к Фаусту)

Приди сюда на сладкую беседу:
Здесь ждет тебя твой царственный престол,
А без тебя и мой осиротеет.

Ф а у с т

(преклонив колена перед Еленой)

Обет служения тебе, царица,
Я приношу; дай руку мне лобзать,
Которая на трон меня возводит.
Венчай меня, да буду я тебе
Соцарствовать в твоём обширном царстве. —
Хранитель твой и раб и обожатель.

Е л е н а

Какие чудеса я слышу! — В сердце
Вопрос теснится за вопросом, — я
Хотела б знать, какою речью воин
Здесь говорил так странно, так приветно?
Как будто звук ласкается к другому;
Лишь примет слух, лишь выдаст сердцу слово,
За ним спешит его же отголосок.

Ф а у с т

Коль мил тебе язык народов наших,
Что скажешь ты о их созвучных песнях?
Они звучат до глубины души.

Но скоро ты постигнешь тайну эту:
Тебя научит ей любви беседа.

Е л е н а

Но как узнать прелестное искусство?

Ф а у с т

Легко, мой друг, — лишь говори от чувства
Когда душа взволнуется желаньем,
Глядишь и ждешь, кто подарит...

Е л е н а

Лобзаньем?

Ф а у с т

Тогда душе все снится красота,
И целый мир исчезнет...

Е л е н а

Как мечта!

Ф а у с т

Кто ж укротит пылающую кровь?
Кто сердцу жизни даст?

Е л е н а

Моя любовь.

[1827]

ЖУРНАЛИСТ И ЗЛОЙ ДУХ

Ж у р н а л и с т

(один перед камином, с пучком черновых тетрадей)

Свершился год: хвала терпенью!
Вкушай плоды своих трудов,
А ты, поверенный грехов,
Камин, прими на всеожженье
Остатки черные листов.
Сожги мои грехи навеки,
С ненужным пеплом их развей,
И да сожгут их человеки
В незлобной памяти своей
Огнем спасительным забвенья!

Я не прошу от них хваленья:
Да взором истины прочтут
Мой труд для истины подъятый,
Хоть не блестящий, не богатый,
Но чистый и смиренный труд.
На пользу брошенное семя,
Быть может (сладкая мечта!),
Плоды воздаст в благое время:
Нет, слава, ты не суета!
Души в чистейшие мгновенья
Твоим призваньям верю я,
Как верит в рай душа моя!
Что от нее, то выше тленья.
Бессмертны разума труды:
Листы мгновенные истлеют;
Но впечатления созреют
И принесут свои плоды.
Я честолюбьем ненавистным
В душе спокойной не тесним;
Но верю сердцем бескорыстным,
Что слава людей...

М е ф и с т о ф е л ь

(являясь с камине из среды пламени)

Дым!

Ж у р н а л и с т

Кто ты, чудовище? иль демон искушенья?
Зачем пришел смущать в моей тиши
Благословенные мгновенья
В мечтах забывшейся души?

М е ф и с т о ф е л ь

Не знаешь ты меня? Еще ты не был читан,
Твой первенец-листок дрожал в твоих руках,
Как у тебя я был невидим в гдстях,
Ты был уж мной и узнан и испытан.
Как весело бывало мне
Дразнить твои невинные мечтанья!
Бывало, затрещу в огне,
И слышатся тебе толпы рукоплесканья!

Бывало, чудеса в камине видишь ты:
Сокровища, клады монеты яркой,
Как вдруг тебе я кучей угля жаркой
Кидал в лицо и разрушал мечты.

Ж у р н а л и с т

Но кто же ты, незванный посетитель,
Мечтаний грешных тайный зритель?
Твое лицо как будто я встречал,
Твой голос мне знаком...

М е ф и с т о ф е л ь

Да, в зале света шумной
Немудрено, что ты меня видал.
Мой голос знаешь ты? — Да ты его слышал!
И ты любил язык змеи разумной,
Которым я тебе шептал,
Лаская слух мечты неугомонной,
О почестях молвы незаслуженной,
В волшебном зеркале очам твоим,
Под очарованным туманом,
Тебя рисуя великаном,
А всё вокруг тебя и жалким и смешным,
С кого не брал я раболепной дань?
Кто от долгов передо мною чист?
В моей руке источники стяжаний:
Я первый здесь капиталист,
Я мощный дух — властитель века!

Ж у р н а л и с т

Ты Мефистофель?

М е ф и с т о ф е л ь

Отгадал.
Давно уж я уверил человека,
Что эгоизм есть первый капитал.
Его ломбард в моей душе бездонной.
Счастлив, кто от меня судьбою благосклонной
Им изобильно наделен!
Проценты я беру — известно,
Но ведь зато берет и он.
Как человек, ты задолжал мне честно
И видишь сам, что в этом нет вреда;
Но как писатель...

Ж у р н а л и с т
Никогда..

М е ф и с т о ф е л ь
Послушайся, кинь гордость педантизма
И вместе с прочими будь мой должник.

Ж у р н а л и с т
Свободный мой и праведный язык
Не подчиню уставам эгоизма.
Какою силой ты проник
И в область знания, о демон искушенья,
И девственный наш ум коварно соблазнил,
И чистый воздух просвещения
Своим дыханьем отравил?

М е ф и с т о ф е л ь
Ведь вы, писатели, народ нетвердой,
И кто из вашей братьи гордой
Под власть мою не попадет?
Я всех вербую в эгоисты,
А предпочтительно печатный ваш народ,
О господа, честные журналисты!
Вам без меня не угодить на всех
И не вкусить из полной славы чаши,
Я лучше вас постиг все тайны ваши,
И лишь со мной вы веруйте в успех.
Когда приходит к вам недуг писанья
И критики заносчивая блажь, —
Отравой сладкою зловредного дыханья
Я наполняю воздух ваш.
Чернила растворив насмешкой ядовитой,
Я эгоизм души насытой
Удачной остротой лукаво щекочу
И дремлющим умом играю, как хочу.
Потом как раз втесняюсь в ваше тело
И совести смирил укор
За приговором приговор
Подписываю смело.
Представляю слабому писателя уму,
Что в мире знания все ведомо ему;
В пылу задорного маранья

С пера срываю обещанья,
И тут на помощь прибегут
Коварные воспоминанья
Обид, постигнувших его давнишний труд!
Разгневанный враждою личной,
Он волю даст насмешке злоязычной;
Врагам его готовлю я позор,
Их сажей перед ним мараю
И едкой остротой изукрашаю
Неправый мести приговор.
Так с помощью меня успех себе он прочит;
Благодаря внушения моим,
Народ гоняется за ним,
Читает, слушает, хохочет...
Ты хочешь ли успеха? — Подпиши:
Вот договор.

Ж у р н а л и с т

Не искушай напрасно
Моей немстительной души,
Твоим внушеньям непричастной!
Я по следам коварным не пойду.
Беги отсель.

М е ф и с т о ф е л ь

Да ты в бреду:
Ведь угли пред тобой, не злато,
Не плеск молвы ты слышишь в треске дров!

Ж у р н а л и с т

В тебе мне нужды нет: я чужд врагов.
Мой враг есть ложь: что сказано, то свято!
Долой, вражда! долой, корысть!

М е ф и с т о ф е л ь

Ага! ты начал расточать угрозы
Своим клиентам, я велю тебя изгрызть
Зубами алчными бранчивой прозы!
Вооружу лукавой остротой
Твоих соперников-собратий;
Не избежишь моих карающих проклятий,
И вместе с громкою толпой

Я оглашу тебя позорным смехом!
Чем будешь отвечать мне?

Ж у р н а л и с т

Эхом!

Прощай.

Мефистофель исчезает.

О мудрый ангел слова.

Меня ты правдой осени
И лжи нечистой духа злого
От мыслей чистых отжени.
Да в пользу верную отчизне
Свершу я истины завет,
И к заслуженной укоризне
Меня да не присудит свет!
Да злую месть обиды личной
Умом спокойным отгоню
И к сердцу доступ возбраню
Ее насмешке двуязычной!
Да будет каждый миг оно
С отчетом пред тебя готово,
Да будет в нем вкоренено,
Что миру сказанное слово
В скрижали неба внесено!

[1827]

МЫСЛЬ

Падет в наш ум чуть видное зерно
И зреет в нем, питаюсь жизни соком;
Но придет час — и вырастет оно
В создании пль подвиге высоком.
И разовьет красу своих рамен,
Как пышный кедр на высотах Ливана;
Не подточить его червям времен;
Не смыть корней волнами океана;
Не потрясти и бурям вековым
Его главы, увенчанной звездами,
И не стереть потоком дождевым
Его коры, неписанной летами.
Под ним идут неслышною стопой
Полки веков — и падают дерябавы,
И племена сменяются чредой

В тени его благословенной славы.
И трупы царств под ним лежат без сил,
И новые растут для новых целей,
И миллион оплаканных могил,
И миллион веселых колыбелей.
Под ним и тот уже давно истлел,
Во чьей главе зерно то сокрывалось,
Отколь тот кедр родился и созрел,
Под тенью чьей потомство воспиталось.
[1828]

МУДРОСТЬ

О мудрость, мать чад небесных!
Тобой измлада вскормлен я:
Ты мне из уст твоих чудесных
Давала пищу бытия.
На персях девственных главою
Я под хранительной рукою
Невинен, чист и тих лежал:
Твоими тешимый речами,
Младенца чистыми устами
Твое млеко я принимал,
И в пламени восторгов сильных
Я в мед словес в речах обильных
Его чудесно претворял;
Под песни твоего ученья
Я сном глубоким засыпал
И мира дивные виденья
Недвижным оком созерцал.
Под солнцем истины незнойным
Полетом ровным и спокойным
По стройной пропасти светил
Мой дух восторженный парил,
И возносился он далёко,
И насыщал и слух и око.
Шумели воды, вихрь и лес,
Перуны падали с небес,
И волновались океаны,
И разверзались волканы,
Казнила мир палач-война,
Упрямо резались народы
За призрак счастья и свободы...

И как потопная волна
Лилась река их теплой крови.
Но в каждом стоне бытия
Духовным слухом слышал я
Великолепный гимн любви
Во славу бога и отца,
И прерывалось стенанье,
И всеотворшего творца
Хвалило всякое дыханье.
И выше, выше я парил,
За грани вечные светил,
В чертог духов и божьей славы,
И слышал их, и видел трон,
Где восседит незримый он,
И сотряслись мои составы,
И зазвучали как тимпан:
Мне долу вторил океан,
Горé мне вторили перуны:
Мои все жплы были струны,
Я сам — хваления орган.

[1828]

РУССКАЯ РАЗБОЙНИЧЬЯ ПЕСНЯ

«Атаман честной,
Мой отец родной.
Ты потешь меня:
Расскажи точь в точь,
Как венчался ты — в ночь,
Иль средь белого дня?» —
 «Темна, грозна была ночь,
Грозней твоего отца,
Как красавицу-дочь
Я увез у купца.
Не в божьем доме
Мы венчались:
Во сыром бору
Сочетались.
Не на теплом пуху,
Не в браном пологу
Целовались мы:
В пещере лесной,
На земле сырой

Обнимались мы.
 На свадебном пиру
 У нас во бору
 Не свечи сияли, —
 Молнии пылали;
 Ни народ не пел,
 Ни музыки не играли, —
 Град шумел,
 Небеса трещали.
 Как та ночь, тот бор,
 Темна душа твоя;
 Как та молния,
 Твой меч остер
 Кровь в тебе пылка,
 Как лобзанье мое;
 Крепка твоя рука,
 Как объятие мое;
 Недаром на врага
 Ты грозён, грозён:
 Ты, буйна голова,
 Под грозой рожден». —
 «Атаман честной,
 Мой отец родной,
 Ты мне все рассказал,
 А того не сказал,
 Чем меня спеленал,
 Как меня воздоил,
 Как меня воспитал
 И чему научил?» —
 «Спеленал я тебя,
 Как велела судьба:
 Шёл нищий убог
 (Да воздаст ему бог!);
 Я одёжу сорвал
 Да тебя спеленал.

 Мать тебя воздоила
 В младые летá:
 Не млеко в уста, —
 Кровь живую точила.

По холодным ночам
Рыданьем согревала,
По ранним утрам
Слезами умывала.
Как я волка догнал,
Да шубу с него снял,
Да тебя ей одел
И младенца пригрел.
Колыбель твоя
На сосне была,
Где повесил я
Скупого жида.
Качали тебя
Ветры буйные,
А баюкали
Громы шумные.
Как ты вырос в бору,
Я учил тебя добру:
Зверем жить под землей,
Рыбой плыть под водой,
Птицей в воздухе летать.
На коне в огонь скакать». —

«Атаман честной,
Мой отец родной,
Ты мне все рассказал,
А того не сказал:
На ком я женюсь?
С кем обручусь?» —

«Ах, дитя мое родное!
Чует ретивое:
Воспитал я твою младость
Не на брачную радость.
Мне сказала ворожейка,
Лихая злодейка:
Что тебе венчаться
С матерью твоей,
Что тебе ласкаться
У песчаных грудей.
Матерью люди
Землю зовут;
Земляные груди
Тебя прижмут
Головкой холостою

Ты на них уснешь;
Мать-землю рукою,
Как невесту, обоймешь,
И навеки вас
Закроют от нас
Простыней не шелковой,
А тяжелой дубовой».

[1828]

СТАНСЫ

Когда безмолвствуешь, природа,
И дремлет шумный твой язык:
Тогда душе моей свобода,
Я слышу в ней призывный клик.

Живее сердца наслажденья,
И мысль возвышенна, светла:
Как будто в мир преображенья
Душа из тела перешла.

Ее обнял восторг спокойной —
И песни вольные живей
Текут рекою звучной,стройной
В святом безмолвии ночей.

Когда же мрачного покрова
Ты сбросишь девственную тень,
И загремит живое слово,
И яркой загорится день:

Тогда заботы докучают,
И гонит труд души покой,
И песни сердца умолкают,
Когда я слышу голос твой.

[1828?]

НОЧЬ

Как ночь прекрасна и чиста,
Как чувства тихи, светлы, ясны!
Их не коснется суета,
Ни пламень неги сладострастный!

Они свободны как эфир;
Они, как эти звезды, стройны, —
Как в лоне бога спящий мир,
И величавы и спокойны.

Единый хор их слышу я,
Когда все спит в странах окрестных!
Полна, полна душа моя
Каких-то звуков неизвестных.

И все, что ясно зрится в день,
Что может выразиться словом,
Слилось в сумрачную тень,
Облечено мечты покровом.

Неясно созерцает взор,
Но все душою дозреваешь:
Так часто сердцем понимаешь
Немого друга разговор.

[1828]

ЦЫГАНСКАЯ ПЛЯСКА

Видал ли ты, как пляшет египтянка?
Как вихрь она столбом взвивает прах,
Бежит, поет как дикая вакханка,
Ее власы, как змеи, на плечах...

Как песня вольности она прекрасна,
Как песнь любви она души полна,
Как поцелуй горячий сладострастна,
Как буйный хмель неистова она.

Она летит как полный звук цевницы,
Она дрожит как звонкая струна.
И пышит взор как жаркий луч денницы,
И дышит грудь как бурная волна.

[1828]

ЦЫГАНКА

«Как ты, египтянка, прекрасна!
Как полон чувства голос твой!
Признайся: страсти роковой

Служила ты, была несчастна?
Зачем на черные глаза
Нашла блестящая слеза?
Недаром смуглые ланиты
Больною бледностью покрыты». —

«В печальных песнях, в грустном взоре
Прочел ты прежде мой ответ:
Зачем тебе чужое горе, —
Иль своего на сердце нет?
Моя тоска живет со мною,
Я ей ни с кем делиться не могла:
Она сроднилася с душою,
Она лишь мне одной мила». —

«Пусть с равнодушными сердцами
Ты не делилася слезами;
Но кто с тобою слезы льет,
Кто тронут был твоею песней,
Кому сама ты песен всех прелестней,
Цыганка, тот тебя поймет». —

«Когда судьбы нещадная рука
Отнимет у жены супруга,
То неизменная тоска
Заменит ей утраченного друга.
Есть прихоти у пламенной любви,
Несчастье также прихотливо:
Не трогай же страдания мои.
Я их люблю, я к ним ревнива».

[1828]

ЦЫГАНСКАЯ ПЕСНЯ

Добры люди, вам спою я,
Как цыганы жизнь ведут;
Всем чужие. век кочуя,
Бедно бедные живут.

Но мы песнями богаты,
Песня — друг и счастье нам:
С нею радости, утраты
Дружно делим пополам.

Песня всё нам заменяет,
Песнями вся жизнь красна,
И при песнях пролетает
Вольной песенкой она.

[1828]

ЛОТОС

(с италианского)

Когда светило дня свой первый луч зажжет
Египта древнего на памятниках темных,
Тщеславия людей свидетелях огромных,
И благотворный Нил лазурью обольет, —
Тогда встаешь и ты, Лотос бело-румяной,
Из влажных брата недр, с денницею златой,
Красуясь белизною невинности, слиянной
С румянцем девственным стыдливости молодой!
И легкий ветерок к тебе с лобзаньем вьется:
То с сладостных листков твое дыхание пьет,
То благовонными кругами разольется
И запах твой другим цветам передает.
Так светлая заря, в час утренний, небрежно
Раскинув локоны по розовым плечам,
Спускает их волной к восточным берегам,
И их рубинами живописует нежно.

Когда ж приемлет царь сапфирного чертога
И светловласого и пламенного бога,
Ты, влажной родины и слава и краса,
О девственный враг тьмы, любовник жадный
света! —

Тебя не радуют без солнца небеса, —
И в грустном сиротстве, лишен его привета,
В покровы влажные увивши стебель свой,
Ты возвращаешься к обители родной.
Так дева чистая чело свое склоняет,
Пред богом принося молитвы фимиам.
И веруя, что он вознесся к небесам,
На чистый ложе пух спокойно возлегает.

[1828]

ТАИНСТВО ДРУЖБЫ

(БУДУЩЕМУ ДРУГУ)

Есть рана в сердце у меня
И вечно истекает кровью:
Ее в печальной жизни я
Ношу с заботливой любовью.
Пока мой друг живет со мной,
Ее носить не перестану:
Он мне целительной рукой
Нанес ту сладостную рану,
И сквозь нее в душе моей
Он зрит все чувства, все желанья,
И огонь любви, и пыл страстей,
И сердца тайные страданья.
Так путник трепетный стоит
В вечерний час богослуженья
У окон храма и глядит, —
И видит там в дыму куренья
При ярком свете ламп златых
Святую храмину владыки
И ангелов небесных лики,
И лица грешников земных.
Так в храм души моей чудесный
Мой друг свой чистый взор вперил
И благодать небесной
Мой мир нечистый посетил,
И он проник в него глубоко,
И дух мой стал ему открыт;
Я мню: в очах его глядит
Творца всевидящее око.
Он силой пламенных очей,
Без грешных чар и без искусства,
На алтаре души все чувства
Зажег огнем души своей,
И дружбы таинство святое
Под грозной клятвой совершил,
И всё нечистое в благое
Священным чудом превратил.
Не отходи, мой друг-хранитель!
Души святыню стереги,
Да не прокрадутся враги
В ее смиренную обитель!

И совесть дикая порой
Да не смутит ее упреком,
И ты неотератымым оком
Да не воздремлешь надо мной!
Когда ж оно закроет вежды,
Тогда без друга, без надежды,
Осиротев, один душой,
Утратив верную охрану,
Я заложу святую рану
И затворю души окно . . .
В ней будет пусто и темно,
Иссякнет жизнь остывшей крови,
И вместе с пламенем любви
С святого жизни алтаря
Умчится пламя бытия.

[2 октября 1828]

НА НОВОСЕЛЬЕ Р[АИ]ЧУ

ЭКСПРОМТ

Твоя душа пылка, как розы легкий цвет,
Вся жизнь одно души прекрасное мгновенье;
Но вечен в ней добра прекрасный свет,
Любви святое вдохновенье.

Ты понял дружбы выражение:
Какой венок она тебе сплела?
Зачем в твой новый дом с любовью принесла
И мирт — цвет вечности, и розу — цвет мгновенья

[1828]

В АЛЬБОМ

в. с. т[опорнин]ой

Служитель муз и ваш покорной,
Я тем ваш пол не оскорблю.
Коль сердце девушки сравню
С ее таинственной уборной.
Все в ней блистает чистотой,
И вкус и беспорядок дружны:
Всегда заботливой рукой

Сметают пыль и сор ненужный:
Так выметаете и вы
Из кабинета чувств душевных
Пыль впечатлений ежедневных
И мусор ветреной молвы.
Храня лишь в нем, что сердцу мило,
Что вас пленяло и любило.
Не отвергайте моего
Моления суровым взором:
Ах! и меня с ненужным сором
Не выметайте из него.

Позвольте ж волю дать сравненью:
В уборной вашей мудрено ль
Разговориться вдохновенью?
Дерзнув вступить в нее, легко ль
Ее оставить равнодушно?
Прошу внимать великодушно.

Там у прозрачного окна,
Где горящая лазурь видна,
Где с вашей светлой белизною
Вседневно спорит солнца свет,
Украшен чистою резьбою,
Стоит ваш скромный туалет,
Советник верный, неопасный.
Вы каждый день, глядяся в нем,
Одушевляете лицом
Его хрусталь небесно-ясный;
Открыто предстоя очам,
Как ваша девственная совесть,
Передаст он верно вам
Лица и чувств живую повесть.
В семейной счастливой тиши
Храните зеркало души,
Чтоб думы облачной печали
Его хрусталь не помрачили.

Как своеюравна, нескромна
Мечта свободного поэта!
Дерзает вольная она
Проникнуть в тайны туалета;

Дерзает вслух пересчитать
Все мысли, чувства, воспоминанья.
Но не лерзнет именовать
Их тайного знаменованья.
С душою искренней при вас
Открою памяти запас.
Я вижу: взор ваш очарован;
Он весь к минувшему прикован:
Здесь кольца яркие кругом;
Там дружбы искренней посланья;
Там медальон, портрет, альбом,
Где вписаны любви желанья:
Там перстень чистый, золотой,
Где спорят с изумрудом розы;
Жемчуг, блистающий как слезы
В очах у девы молодой
(Своим любимым ожерельем
Давно вы избрали его):
Там, между многим рукодельем,
Подруг дареное шитво,
А там блистает сокровенный,
Незрим никем, алмаз бесценный.
Любовь! Младой души алмаз!
Да будет тот достоин вас,
Кто примет дар неоцененный,
Кому сужден любви привет!
Да соблюдет алмаз огнистой
И да украсит гранью чпстой
Его природный чистый свет!

Души в заветном туалете
Ужель не будет места мне?
Ужель, хотя в случайном сне,
Не вспомните вы о поэте?
Нет, для него между кольцом,
Меж солитером, жемчугом.
Едва заметную вложите
Душе на память бирюзу,
Хоть редко на нее взгляните
И сувениру подарите
Одну жемчужину-слезу.

[Январь 1829]

ПАРТИЗАНКЕ КЛАССИЦИЗМА

Расцветши пламенной душой
В холодных недрах стен гранитных,
Не любит мирный гений твой
Моих стихов кровопролитных.
Тебя еще пугает кровь,
Тебя еще пугают раны,
Пока волшебные обманы
Таят от глаз твоих любовь.
Зарей классического мира
Горит твой ясный небосклон;
Крылами мрачного Шекспира
Еще он не был отягчен.
Блуждаешь ты под тенью света,
И тучи шумною грозой,
Как тени Банко и Гамлета,
Не проносились над тобой.
У охраненной колыбели,
Где древних песен тихий звон
Лелеет твой беспечный сон,
Громовой песни не пропели,
Не нарушали ею сна
Судьбы таинственные жрицы;
Еще незнания пелена
Хранит спокойные зеницы.
В садах Омира бродишь ты
И безопасно и небрежно,
Своей рукой срывая нежно
Благоуханные цветы,—
И кровью пламенной облитый
Шекспира грозного кинжал
В цветах змеею ядовитой
Перед тобою не сверкал.
Под тяжким бременем кручины,
С своей аттической долины
От света, горя, суеты
Во мрак готического храма,
В мир таинства и фимпама
Еще не убегала ты,
Не знала мук ревнивой мести,
Неправых жребия угроз;
Не отирала горьких слез

Святой страницей благовестий.
Вся жизнь твоя — волшебный рай;
Останься так, живи ты доле
В своей классической неволе,
Под небом Аттики гуляй
И цвет небес ее эфирных
В своих очах лазурных, мирных
Ты долго, долго отражай.
Под охранительной любовью
Да не сразит тебя беда:
Да не полюбишь никогда
Мои стихов, облитых кровью.

/Февраль 1829/

ДВА ДУХА

Д у х с м е р т и

Везде, где ни промчался я,
Оскудевает жизни сила;
Ветшает давняя земля,
Веков несытая могила,—
И смерть столезвейной косою
Ее не утоляет глада,
И заражающего смрада
Она полна, как труп гнилой!

Д у х ж и з н и

Везде, где ни промчался я,
Кипели жизни хороводы;
Из персей пламенной природы
Млеко струилось бытия.
Младенцев свежих миллионы
Ее лелеяла рука,
И от живящего млека
Носился воздух благовонный.

Д у х с м е р т и

С Востока я: там мор и глад
О смерти гордо соревнуют;
Над прахом тлеющих громад
И враны даже не пируют.

Д у х ж и з н и

Я с Запада: там врач поправил
Болезни неисцельной жало;
Из миллиона смерти жал
Еще единого не стало.

Д у х с м е р т и

С полудня я: там два бича
Живое истребляют племя,
Война и деспот в два меча
Торопят медленное время.

Д у х ж и з н и

Я с полночи: там светлый пир!
Живет и блещет цвет народа!
Там сочетались сильный Мир
И многоплодная Свобода.

Д у х с м е р т и

Я нисходил во глубь земли,
В ее богатую державу,
Где поколения погребли
Свои сокровища и славу.
Равно гниют — рабы, князья,
И скудный саван и порфира,
И медью глупого червя
Богоизбранный гений мира.

Д у х ж и з н и

Зри колыбелей миллион:
В них зародился гений новый;
Дитя веков, созреет он —
И сокрушит твои оковы.
Благословен его восход:
Из океана поколений
По небу века он пройдет,
Как солнце ясное, без тени.

Д у х с м е р т и

Ты видишь миллион могил:
В них век его истлеет мертвый;

Одну из них закон судил
И для твоей высокой жертвы.

Д у х ж и з н и

Я вижу, вижу, но над ней
Стонает миллион живущих!..
Он из-под тысячи смертей
Воскреснет в племенах грядущих,
И оградят его века,
Стеной обстанут поколения:
Сквозь них с косою истребленья
Не достигнет твоя рука.

Берлин. Апрель 22, 1829

НОЧЬ

Немая ночь! прими меня,
Укрой испуганную думу;
Боюсь рассеянного дня,
Его бессмысленного шуму.
Там дремлют праздные умы.
Лепечут ветреные люди,
И свет их пуст как пусты груди.
Бегу его в твои потьмы,
Где смело думы пробегают,
Не сторожит их чуждый зрак,
Где искры мыслей освещают
Кипящий призраками мрак.
Как всё в тебе согласно, стройно!
Как ты велика и спокойна!
И сколько тайн твоя полна
Пророческая тишина!
Какие думы и порывы
Ты в недрах зачала святых,
И сколько подвигов твоих
Присвоил день самолюбивый!
.....
.....
.....
.....
О ночь! на глас любви моей
Слети в тумане покрывала;

Под чистой ризой твоей
Не скрою...
Не в соучастницы греха,
Не на кровавое свиданье,
Мольбой смиренного стиха
Зовет тебя мое желанье,
Я чист — и, чистая, ко мне
Простри горящие объятия
И нарисуй в волшебном сне:
Где други сердца, мысли братья!
И коль утраты суждены,
Не откажи ты мне в участьи,
И звуком порванной струны
Не вдруг пророчь мне о несчастьи.
В душе потонет тяжкой стон,
Твоей тиши я не нарушу;
Любовник ждет; сведите сон
И всех друзей в родную душу.

[Июнь 1829]

ПЕСНЯ ГРЕМИСЛАВЫ

Участь моя горькая,
Век мне слезы лить:
Запрещают милого
Друга мне любить.

О добро ты, Днепр родной!
Жадный твой поток
Поглотил лихой волной
Брачный мой венок.

О зачем же, Днепр родной.
В страшный бури час,
Не покрыл другой волной
Неразлучных нас?

Друга бы прижала я
К сердцу и к устам
И в волнах сыскала б я
Брачный свой венок!—

Участь моя горькая,
Век мне слезы лить:
Запрещают милого
Друга мне любить.

Страшные, запретные
Речи говорят,
Но глаза приветные
Друга мне манят.

С утренней денницею
Схож мой милый друг,
Нет, отцеубийцею
Он не может быть!

Очи соколиные,
Ясное чело,
Речи лебединые,
Жаркие уста.

Взгляды, взгляды молнии,
Можно ль вас забыть?
Нет, не буду слушаться,
Буду вас любить!

Участь моя горькая,
Век мне слезы лить:
Запрещают милого
Друга мне любить.

Если же прекрасного
Вырвут у меня, —
Ждет меня, несчастную,
Ждет другой жених.

Очи — очи мутные,
Хмурен лик его,
Речи — речи бурные,
Мертвый поцелуй.

И на перси холодные
Примет, примет он
Слезы безотрадные
И последний стон.

Участь моя горькая,
Век мне слезы лить:
Запрещают многого
Друга мне любить.
[1829]

К НЕПРИГОЖЕЙ МАТЕРИ

Пусть говорят, что ты дурна,
Охрип от стужи звучный голос,
Как лист сосновый, жесток волос
И грудь тесна и холодна;
И серы очи, стан нестроен,
Пестра одежда, груб язык,
Твоих соперниц недостойн
Обезображенный твой лик.
Но без восторженной улыбки
Я на тебя могу ль взирать?
Как ты умела побеждать
Судьбы неправые ошибки!
Каких ты чад произвела!
Какое племя дочерей славных,
Прекрасных, милых, тихонравных
Ты свету гордо отдала!
Уж не на них ли расточила
Дары богатой красоты?
Или искусством изменила
Свои порочные черты?
Суровость в пламенную важность
И хлад в спокойствие чела,
И дерзость в гордую отважность,
В великость духа перешла.
Не ты ли сплю чудесной
Одушевила в них потом
Чело возвышенным умом,
И грудь гармонией небесной,
И очи серые огнем?
Не ты ль, по древнему владенью,
Водила их в свои леса,
При шуме их учила пенью,
У вод — как строить голоса;
И нежной ласкою приветов
Одушевлять мечту поэтов?

Пуškai твердят тебе в укор
Про жгуцый, сладострастный взор
Красавицы давно известной,
Полуизмученно-прелестной,
Любимой солнцем и землей,
Сожженной от его дыханья,
От ядовитого лобзанья,
Полуослабшей и худой.
И я прославленную видел
И думал прежде обожать;
Но верь, моя дурная мать,
Тебя изменой не обидел.
Она явилась предо мной
В венке из мирт и винограда,
Водила жаркою рукой
Меня по сениям вертограда.
И кипарис и апельсин
В ее власах благоухали;
Венки цветов на злак долин
Одежды легкие стрясаля,
Во взорах тлелся черный зной,
Печать любви огневой;
На смуглом образе томленье,
Какой-то грусти впечатленье
Изображалось предо мной.
Желая знать печали бремя,
Спросил нетерпеливо я:
«Да где ж твое живое племя,
Твоя великая семья?»
Она поникла и молчала,
И слезы сыпались ручьем,
И что же?.. трепетным перстом
Она на гробы указала.
И я бродил с ней по гробам,
И в недра нисходил земные,
И слезы приносил живые
Ее утраченным сынам.
Она с рыданьем однозвучным
Сказала: «Здесь моя семья,
А там — одна скитаюсь я
С моим любовником докучным!»
Когда же знойные глаза,
В припадке суетной печали,

Тягчила полная слеза,—
Твои же дщери утешали
Чужую мать и сироту
И ей утешно воспевали
Ее живую красоту.

Светлей твои сверкают взоры,
Они надеждою блещут,
Они, как в небе метеоры,
Обетованием горят
Их беспокойное сиянье
Пророчит тлеющий в тиши
Огонь невспыхнувшей души
И несвершенное желанье.
Ужель в тебе не красота
Твоя загадочная младость,
Неистощенные лета
И жизни девственная радость?..
Пусть ты дурна, пускай мечту
В тебе бессмысленно ласкаю;
Но ты мне мать: я обожаю
Твою дурную красоту.

Исхио. Июля 16 [1829]

ПЕТРОГРАД

Море спорило с Петром:
«Не построишь Петрограда;
Покачу я шведской гром,
Кораблей крылатых стадо.
Хлынет вспять моя Нева,
Ополченная водами:
За отъятые права
Отомщу ее волнами.

Что тебе мои поля,
Вечно полные волнений?
Велика твоя земля.
Не озреть твоих владений!»
Глухо Петр внимал речам:
Море злилось и шумело,
По синеющим устам
Пена белая кипела.

Речь Петра гремит в ответ:
«Сдайся, дерзостное море!
Нет,— так пусть узнает свет:
Кто из нас могучей в споре?
Станет град же, наречён
По строителе высоком:
Для моей России он
Просвещения будет оком.

По хребтам твоих же вод,
Благодарна, изумленна,
Плод наук мне принесет
В пользу чад моих вселенна,—
И с твоих же берегов
Да узрят народы славу
Руси бодрственных сынов
И окрепшую державу».

Рек могучий — и речам
Море вторило сурово,
Пена билась по устам,
Но сбылось Петрово слово.
Чу!.. в Рифей стучит булат!
Истекают реки злата,
И родится чудо-град
Из неплодных топей блата.

Тяжкой движется стопой
Исполин — гранит упорный
И приемлет вид живой,
Млату бодрому покорный.
И в основу зыбких блат
Улеглись миллионы:
Всходят храмы из громад
И чертоги и колонны.

Шпиц, прорезав недра туч,
С башни вспыхнул величавый,
Как ниспадный солнца луч
Или луч Петровой славы.
Что чернеет лоно вод?
Что шумят валы морские?
То дары Петру несет
Побежденная стихия.

Прилетели корабли.
Выплыли чуждые народы
И России принесли
Дань наук и плод свободы.
Отряхнув она с очей
Мрак невежественной ночи,
К свету утренних лучей
Отверзает бодры очи.

Помнит древнюю вражду,
Помнит мстительное море,
И да мщенья примет мзду,
Шлет на град потоп и горе.
Ополчается Нева,
Но от твердого гранита,
Не отъяв свои права,
Удаляется сердита.

На отломок диких гор
На коне взлетел строитель;
На добычу острый взор
Устремляет победитель;
Зоркий страж своих работ
Взором сдерживает море
И насмешливо зовет:
«Кто ж из нас могучей в споре?»

Остров Нискио. 9 [августа н. с.] 1829

ОЧИ

Видал ли очи львицы гладной,
Когда идет она на брань
Или с весельем коготь хладный
Вонзает в трепетную лань?
Ты зрел гиену с лютым зевом,
Когда грызет она затвор?
Как раскален упорным гневом
Ее окровавленный взор!
Тебе случалось в мраке ночи,
Во весь слух пустив коня,
Внезапно волчий встретить очи,
Как два недвижные огня?
Ты помнишь, как твой замер голос,

Петроград.

Море: спорило съ Петромъ:
« Не пострахивь Петрограда;
« Показу сь Шведскою проль,
« Корабли армянского флота.
« Лишь не вступитъ портъ Нева
« Отмеченная водни,
« Да отъ кромъ права)
« ^{Отъ} ~~Водо~~расту ехъ Волнами.
#

« Это твѣ мои портъ,
« Волны: по нисъ Волнами! —
« Земля: твои земли,
« Не озвонитъ Волны владѣнъ. —
« Туча Петра: вилла: рѣка:
« Море: земли: и селу: —
« По мѣстности: устану
« Волны: какъ: нѣтъ.

Рѣка Петра: армянъ: въ ответъ:
« Волны: дружелюбъ: море!
« Кому, такъ: нѣтъ: рѣка: свѣтъ,
« Кому: нѣтъ: море: въ море.
« Волны: армянъ: — нѣтъ:
« По: строгости: вилла:
« Да: нѣтъ: Россіи: —
« Провѣденье: море: море.

#

Как потухал в крови огонь,
Как подымался дыбом волос,
И подымался дыбом конь?
Те очи — страшные явления!
Я знаю очи тех страшней:
Не позабыть душе моей
Их рокового впечатленья!
Из всех огней и всех отрав
Огня тех взоров не составишь
И лишь безумно обесславишь
Наук всеведущий устав.
От них всё чувство каменеет.
Их огонь и жжет и холодит;
При мысли сердце вновь горит,
И стих робея леденеет.
Моли всех ангелов вселенной,
Чтоб в жизни не встречать своей
Неправой местью раздраженной
Коварной женщины очей.

[Сентябрь — ноябрь 1829]

ЖЕНЩИНЕ

Ты асмодей иль божество!
Не раздражай души поэта!
Как безотвязная комета,
Так впечатление его:
Оно пройдет и возвратится,
Кинжалом огненным блеснет,
В палящих искрах раздробится,
Тебя осыплет и сожжет.

[Сентябрь — ноябрь 1829]

ТЯЖЕЛЫЙ ПОЭТ

Как гусь, подбитый налету,
Влачится стих его без крылий;
По напряженному лицу
Текут следы его усилий.
Вот после муки голова
Стихами тяжело разродилась:
В них рифма рифме удивилась,
И шумно стреснулись слова.

Не в светлых снах воображенья
Его поэзия живет;
Не в них он ловит те виденья,
Что в звуках нам передает;
Но в душной кузнице терпенья,
Стихом как молотом стуча,
Кует он с джжего плеча
Свои чугунные творенья.

[Ноябрь 1829]

ПРЕОБРАЖЕНИЕ

Звуком ангельского хора
Полны были небеса:
В светлой скинии Фавора
Совершались чудеса.
Средь эфирного чертога,
В блеске славы и лучей,
Созерцали образ бога
Илия и Моисей.

В то мгновенье, над Фавором
Серафим, покинув лик,
Всжделенья полным взором
К диву горному приник.
Братья пели; но, счастливый,
Он их звукам не внимал
И украдкой, молчаливый,
Тайну бога созерцал.

И в небесное селенье
Возвратился серафим:
Лучезарное виденье
Неразлучно было с ним.
И полетом неприметным
Век за веком пролетел:
Лишь о нем в эфире светлом
Братьям внемлющим он пел.

Раз, затерянные звуки
Долетели до земли:
Сколько слез, молитв и муки
Звуки те произвели!

Не одна душа, желаньем
Истомясь узреть фавор,
С несвершенным упованьем
Отлетела в божий хор.

К тем молениям создатель
Слух любви преклонил:
Божьей тайны созерцатель
К нам на землю послан был.
Ангел смелый в наказанье
С жизнью принял горе слез;
Но свое воспоминанье
Он в уладу взял с небес.

Духом божьим вышний гений
Осенился с первых лет,
И утраченных видений
Рано в нем проснулся свет.
Слезы лья по небе ясном,
Сквозь их радужный кристалл
Он в величии прекрасном
Чистых братьев созерцал.

И любил, осиротелый,
Думой в небо залетать,
И замыслил кистью смелой
К прочной ткани приковать
Возвращенные виденья,
Часто облаком живым
В миг великого прозренья
Пролетавшие пред ним.

Вспоминал, как мир призванный
Он на лоне свежих крил,
Гость небес богоизбранный,
За создателем парил;
Как с крылатым роем братьий
В день творенья нес дары;
Как из божеских объятий
Всюду сыпались миры.

Он означил, как стопам
Бог раздвинул свет и тьму;
Как повесил над звездами

В небе солнце и луну;
Как по остову планеты
Океан перстом провел;
Как из недр ее без сметы
Сонм творений произвел.

Раз, томясь своей утратой,
Наяву он видел сон:
Вдруг молитвою крылатой
В небо был перенесен;
Слышал ангелов напевы,
Сонмы их изобразил,
И в среде их образ девы
Кистью быстрой уловил.

Но любимое виденье,
Что утратил серафим,
В недоступном отдаленье
Всё туманилось пред ним.
Тщетно не смыкались вежды
И пылал молитвой взор:
Погасал уж луч надежды,
Не сходил к нему фавор.

Что земные краски тленья,
Солнца пышные лучи? —
Пред лучом преображенья,
Как пред солнцем блеск свечи.
К смерти шествовал унылый,
Не сверша души завет,
И в расселинах могилы
Что ж он видит? — божий свет!..

Луч сверкнул... и вспылала
Кисть божественным огнем;
Море яркого кристалла
Пролилось над полотном...
И уж бога лик открытый
Он очами ясно зрел;
Но виденнем насытый,
Бросил кисть... и улетел!

Там его виденье вечно;
Там без горя и без слез

Созерцает он бесечно
Диво тайное небес.
У Фавора величавый
Стражем стал — и на крылах
Свет божественныя славы
Блещет в радужных лучах.
Рим. 13 декабря 1829

ТИБР
(песня)

Варвар севера надменной
Землю Рима хладно мнет
И с угрозой дерзновенной
Тибру древнему поет:

«Тибр! ты ль это? чем же славен?
Что добра в твоих волнах?
Что так шумен, своенравен
Расплескался в берегах? /

Тесен, мутен!.. — незавидно
Прокатил тебя твой рок!
Солнцу красному обидно
Поглядеться в твой поток.

Не гордись! — Когда б ты — горе!
Нашу Волгу увидал,
От стыда, от страха б в море
Струи грязные умчал.

Как парчою голубою
Разостлалась по степям!
Как привольно в ней собою
Любоваться небесам!

Как молодой народ могуча,
Как Россия широка,
Как язык ее гремуча,
Льется дивная река!

Далеко валы широки
Для побед отважных шлет

И послушные потоки
В царство влажное берет.

Посмотрел бы ты, как вскинет
Со хребта упорный лед,
И суда свои подвинет
Да на Каспия пойдет!

О когда бы доплеснула
До тебя ее волна,
Словно каплю бы сглотнула
И в свой Каспий унесла!»

Тибр в ответ: «Ужели, дикой,
Мой тебе невнятен вой?
Пред тобою Тибр великой
Плещет вольною волной.

Славен я между реками
Не простором берегов,
Не богатыми водами,
Не корыстию судов: —

Славен тем я, Тибр свободной,
Что моих отважных вод
Цепью тяжелой и холодной
Не ковал могучий лед!

Славен тем непобежденной,
Что об мой несдержанный вал
Конь подковою презренной
В гордом беге не стучал.

Пусть же реки на просторе
Спят под цепью ледяной:
Я ж бегу, свободный, в море
Неумолчною волной».

[8—10 декабря н. с. 1829]

ХРАМ ПЕСТУМА

«Храм пустынный, храм великой!
Кто назовет лихой судьбы
Здесь, в степи больной и дикой,
Взгромоздил твои столбы?» —

«Древле, древле, как изгнали
Вы отселе божество,
Вихри времени умчали
Имя звучное его.

Всё вокруг меня могила;
Память стен моих ветха,
И она не сохранила
В славу зодчему стиха». —

«Кто ж скажи, о храм чудесной,
Гладно камень твой точил?
Или влагою небесной
Гневный бог тебя губил?» —

«На меня ходило море,
Подо мной тряслась земля,
Все стихии были в споре:
Кто скорей сотрет меня?

Степь и ныне дышит ядом,
Точат гады плоть мою,
Но назло чуме и гадам
Невредимый — я стою». —

«Но скажи, страдалец правой,
О добыча праздных лет!
На колонне величавой
Что за раны черный след?» —

«Этой раной Зевс ревнивой
Мстил за мой бессмертный век
И десной молньеточивой
Стены праздные рассек.

Здесь — лобзание перуна!
Странник, преклонись челом.
Бил меня и жезл Нептуна,
Бил меня и Зевсов гром!»

[Декабрь 1829]

К РИМУ

Когда в тебе, веками полный Рим,
По стогнам гром небесный пробегает,
И дерзостно раскатом роковым
В твои дворцы и храмы ударяет:
Тогда я мню, что это ты гремишь,
Во гневе прах столетий отрясаешь
И сгибами виссона шевелишь
И громом тем Сатурна устрашаешь.

[Декабрь 1829]

СТАНСЫ РИМУ

По лестнице торжественной веков
Ты в славе шел, о древний град свободы!
Ты путь свершил при звоне тех оков,
Которыми опутывал народы.
Всё вслед тебе, покорное, текло,
И тучами ты скрыл во мгле эфирной
Перунами сверкавшее чело,
Венчанное короною всемирной.

Но ринулись посланницы снегов,
Кипящие мятели поколений, —
И пал гигант, по лестнице ж веков
Бнясь об их отзывные ступени;
Рассыпалась, слетев с главы твоей,
На мелкие венцы корона власти:

.....
.....

Но путь торжеств еще не истреблен,
Проложенный гигантскими пятами,
И Колизей, и мрачный Пантеон,
И храм Петра стоят перед веками.
В дар вечности обрек твои труды
С тобой времен условившийся гений,
Как шествия великого следы,
Не стертые потоком изменений.

[Декабрь 1829]

СТЕНЫ РЕМА

Веками тканая величия одежда!

О каменная летопись времен!

С благоговением, как набожный невежда,

Вникаю в смысл твоих немых писем.

Великой буквою мне зрится всяк обломок,

В нем речи прерванной ищу следов...

Здесь всё таинственно — и каждый камень громок:

Отзывами отгрянувших веков.

[Конец 1829 — начало 1830]

ДВЕ РЕКИ

Из единого истока

На родную грудь земля

Два кристальные потока

Тихоструйно истекли.

Истекли — и разлучились,

Но, кляня враждебный рок,

Волны верные любились,

Помня свой родной исток.

На чужбины брег далекой

Занесен с своих полей,

Так Налии одинокой

Издали журчал Пеней:

«Жажда вод моих, Налия!

Там, где ты, лугов краса,

Стелешь струи голубые, —

Чисты ль, светлы ль небеса?

Ток мой ясен: над берегами

В нем глядится пышный сад:

Розы, лавры и кусты

Наклоненный виноград.

Облака серебром трепещут

В зыбком зеркале струи;

Мимолетом часто блещут

Белокрылые ладьи.

Песни слышатся живые;

Берег светлый, но чужой,

Имя звучное — *Налия!*
Повторяет за волной.
Много рек вокруг златится,
Но их ток не нужен мне, —
И волна моя стремится
Всё к Налипной волне.

Скоро ль, скоро ль вожделенный,
Тот проглянет светлый день,
Как с чужбины, утомленный,
Притеку в родную сень?
С той же ль лаской друга примешь?
Верно ль ток усталый мой
Ты с любовью обнимешь
Неизменною волной?»

Из родных полей *Налия*
Другу так журчит в ответ:
«Любят волны голубые,
Но грозит преградой свет.
Он твердит: дары любви
У меня не суждены
Ни сердцам единой крови,
Ни рекам одной волны». —

«Утечем же в степь изгнанья,
Где ни скал, ни камней нет,
Где любовного слиянья
Не услышит строгий свет.
Если ж там мы, беззащитно,
Волн своих не можем слить,
На себе клянусь неслитно
Ток твой девственный носить.

Скрывшись в дебри, в мрак лесистый.
Ясных струй твоих красу,
Как елей прозрачно-чистый,
Не сливав туда снесу,
Где все реки притекают
Со четырех мيرا стран
И течения сливают
В беспредельный океан».

Начало января 1830/

〈ПЕДАНТАМ-ИЗЫСКАТЕЛЯМ〉

Стен городских затворник своенравный,
Сорвав в лесу весенний, первый цвет,
Из-под небес, из родины дубравной,
Несет его в свой душиный кабинет.
Рад человек прекрасного бессилью!
Что в нем тебе? Зачем его сорвал?
Чтоб цвет живой, затертый едкой пылью,
Довременно и без плода извял.

Так жизни цвет педант ученый косит,
И, жаждою безумной увлечен,
Он в мертвое ученье переносит
Весь быт живой народов и времен.
В его устах все звуки зампрают,
От праотцов гласящие живым,
И в письменах бесплодно дотлевают
Под пылью букв и Греция и Рим.

Нет, не таков любитель светлой Флоры!
От давних жатв он копнит семена;
Дохнет весна — и разбежались взоры:
Живым ковром долина устлана.
Равно поэт в себе спасает время,
Погибшее напрасно для земли,
И праздный век, увянувшее племя,
Пред ним опять волшебю расцвели.
[Рим. 10 февраля 1830]

В АЛЬБОМ...

Бывало, скиф, наш предок круглолицый,
Склонив к рукам закованным главу,
Смирено шел за римской колесницей,
Служа рабом чужому торжеству. —
А ныне скиф гордится, созерцая,
Как дочери его родной земли,
Красою чувств возвышенных сияя,
На торжество в Рим древний притекли;
Как их душа в развалинах пылает;
Как римлянин, наш данник в свой черед.

Их кроткий плен с покорностью несет
И языком Петрарки напевает.

Рим. 1830

ФОРУМ

Распаялись связи мира:
Вольный Форум пал во прах:
Тяжко возлегла порфира
На его святых костях.
Но истлел хитон почтенный,
И испуганным очам
Вскрылись веча, там и там,
Порознь кинутые члены.

И стоят печально ныне
Кой-где сирые столпы:
По заброшенной пустыне
Псы гуляют да попы.
Есть же Форума обломки:
Так прияли ж от отцов
Благороднейшую кровь
Недостойные потомки!

[1830]

* * *

Он все концы земли изведаль,
Она изъезжена им вся,
Он всей Европою обедал,
Ее наелся, напился.
Неповоротливый рассудок
Пока на месте просидел,
В нем путешествовал желудок
И всюду пил и всюду ел.

[1830?]

К ФЕБУ

Плодов и звуков божество!
К тебе взывает стих мой смелый:
Да мысль глядится сквозь него,
Как ты сквозь плод прозрачно-спелый;

Да будет сочен и глубок,
Как перспк вскормленный лучами,
Точащий свой избытний сок
Благоуханными слезами.

[Лето 1830]

ЧТЕНИЕ ДАНТА

Что в море купаться, то Данта читать:
Стихи его тверды и полны,
Как моря упругие волны!
Как сладко их смелым умом разбивать!
Как дивно над речью глубокой
Всплываешь ты мыслью высокой:
Что в море купаться, то Данта читать.

[Рим. Лето 1830]

ТРОЙСТВО

Я, в лучшие минуты окрыляясь,
Мечтой лечу в тот звучный, стройный мпр,
Где в тройственный и полный лик спеваясь,
Поют Омир и Данте и Шекспир, —
И радости иной они не знают,
Как меж собой менять знакомый стих, —
И между тем как здесь шумят за них,
Как там они друг друга понимают!

[Рим. Лето 1830]

ШПРОККО

Воздух скован теплотой,
Крылья ветра непрохладны:
Манят тени темнотой,
Но и тени безотрадны.
В теплых рощах стрекоча,
Надоела саранча;
Зефир листьев не колышет;
Всё чуть движется, чуть дышит;
Мир уснул, оцепенел;
Морит зной, но небо ясно,

И не жди, чтоб дождь ненастно
Над тобою прошумел.

[Рим. Лето 1830]

ИТАЛИИ

Лобзай и жги и жми меня к устам,
Италия! — в пылу очарованья:
Не изменю, — России передам
Твоим огнем горящие лобзанья.

1830

ПОСЛАНИЕ К А. С. ПУШКИНУ

Из гроба древности тебе привет:
Тебе сей глас, глас неокрепый, юный;
Тебе звучат, наш камертон Поэт,
На лад твоих настроенные струны.
Простишь меня великодушно в том,
Когда твой слух взыскательный и нежной
Я оскорблю неслаженным стихом
Иль рифмою нестройной и мятежной;
Но, может быть, порадуешь себя
В моем стихе своим же ты успехом,
Что в древний Рим отозвалась твоя
Гармония, хотя и слабым эхом.

Из Рима мой к тебе несется стих,
Весь трепетный, но полный чувством тайным,
Пророчеством, невинным для других,
Но для тебя не темным, не случайным.
Здесь, как в гробу, грядущее видней;
Здесь и слепец дерзает быть пророком;
Здесь мысль, полна предания, смелей
Потьмы веков пронзает орлим оком;
Здесь Дантов стих всю бездну исходил
От дна земли до горнего эфира;
Здесь Анжело, зря день последний мира,
Пророчеством кистью гробы вскрыл.
Здесь, расшатавшись от изнеможенья,
В развалины распался древний мир,
И на обломках начат новый пир,
Блистательный, во здравье просвещенья,

Куда чредой все племена земли,
Избранники, сосуды принесли;
Куда и мы приходим, с честью равной,
Последние, как древле Рим пришел,
Да скажем наш решительный глагол,
Да поднесем и свой сосуд за здравной! —
Здесь двух миров и гроб и колыбель,
Здесь нового святое зароженье:
Предчувствием объемлю я отсель
Великое отчизны назначенье!

Когда, крылат мечтою дивной сей,
Мой быстрый дух родную Русь объемлет
И ей отсель прилежным слухом внемлет,
Он слышит там: со плесками морей,
Внутри ее просторно заключенных,
И с воем рек, лесов благословенных,
Гремит язык, созвучно вторя им,
От белых льдов до вод, бьющих в Крым,
Из свежих уст могучего народа,
Весь звуками богатый как природа:
Душа кипит!..

Какой тогда хвалою гремлю я богу,
Что сей язык он мне вложил в уста.
Но чьи из всех родимых звуков мне
Теснятся в грудь неотразимой силой?
Всё русское звучит в их глубине,
Надежды все и слава Руси милой,
Что с детских лет втвердилось в слова,
Что сердце жмет и будит вздох заочный:
Твой — певец! избранник божества,
Любовию народа полномочный!
Ты русских дум на все лады орган!
Помазанный Державным предтечей
Наш депутат на Европейском вече; —
Ты — колокол во славу россиян!

Кому ж, певец, коль не тебе, открою
Вопрос, в уме раздавшийся моем
И тщетно в нем гремящий без покою:
Что сделалось с российским языком!
Что он творит безумные проказы! —

Тебе странна, быть может, речь моя;
Но краткие его развѣрнем фазы, —
И ты поймешь, к чему стремлюся я. —
Сей богатырь, сей Муромец Илья,
Баюканный на льдах под вихрем мразным,
Во тьме веков сидевший сиднем праздным,
Стал на ноги уменьем рыбака
И начал песнь от бога и царя. —
Воскормленный средь северного хлада
Родной зимы и льдистых Альп певцом,
Окреп совсем и стал богатырем,
И с ним гремел под бурю водопада.
Но, отгремев, он плавно речь повел
И чистыми Карамзина устами
Нам исповедь народную прочел, —
И речь неслась широкими волнами:
Что далее — то глубже и светлей; —
Как в зеркале, вся Русь гляделась в ней;—
И в океан лишь только превратилась,
Как Нил в песках, внезапная сокрылась,
Сокровища с собою унесла,
И тайного никто не смел ходя...
И что ж теперь? — вдруг лужею всплыла
В Истории российского народа.

Меж тем когда из уст Карамзина
Минувшее рекою очищенной
Текло в народ: священная война
Звала язык на подвиг современной.
С Жуковским он, на отческих стенах
Развив с Кремля воинственное знамя,
Вещал за Русь: пылали в тех речах
И дух Москвы и жертвенное пламя!
Со славой он родную славу пел,
И мира звук в ответ мечу гремел.
Теперь, кому ж, коль не тебе, по праву
Грядущую вручит он славу?

Что ж ныне стал наш мощный богатырь?
Он, гальскою диетой замучен,
Весь испитой, стал бледен, вял и скучен,
И прихотлив, как лакомый визирь,
Иль сибарит, на розах почивавший,

Ваша Топка; 2
14 Киниз 26^е.

1. *Ure erythraea*, *Blaufr.*? *Urythra erythraea*, *Agnew.* -
This murine ~~with~~ *subomilata* *Sydney* and
A years ago *central* *convey*
This *subomilata* *as* *subomilata* *subomilata*?

Мно ~~во~~^о ~~океан~~^{стоида} то ~~бъ~~[#] торопимъ свѣ?
Вспомни то ~~не~~^{не} ~~иде~~^{иде} тилимъ вѣст' друг,
Не стѣснимо крестнаго воина?
Ше чадимъ на небо звонит'?"

Милый мой: не стесняйся под волка!
Я тоже Рубин, и you da' одобрю!

И, пожалуйста, непременно пиши,
~~как~~ ^{всегда} в мои выходные на сон,

Возвращаясь в Соединенный океан,
мы снова все боимся и опасаемся.
Приветствую вас и вашу семью. ^{Приветствую}
И желаю вам всего хорошего.

[illegible]

Недужные стенанья издававший,
Когда под ним сминаясь лепесток.
Так наш язык: от слова ль праздный слог
Чуть отогнешь, небережно ли вынешь,
Теснее ль в речь мысль новую водвинешь, —
Уж болен он, не вынесет, крягтит,
И мысль на нем как груз какой лежит!
Лишь песенки ему да брани милы;
Лишь только б ум был тихо усыплен
Под рифменный, отборный пустозвон.
Что, если б встал Державин из могилы,
Какую б он наслал ему грозу!
На то ли он его взлелеял силы,
Чтоб превратить в ленивого мурзу?
Иль чтоб ругал заезжий иностранец,
Какой-нибудь писатель-самозванец,
Святую Русь российским языком
И нас бранил, и нашим же пером?

Недужного иные врачевали,
Но тайного состава не узнали:
Тянули из его расслабших недр
Зазубренный спондеем гекзамётр,¹
Но он охрип...

И кто ж его оправит?
Кто от одра болящего восставит?..
Тебе открыт природный в нем состав,
Тебе знаком и звук его и нрав,
Врачуй его: под хладным русским Фебом
Корми его почаще сытным хлебом,
От суетных печалей отучи
И русскими в нем чувствами звучи.
Да призови в сотрудники Поэта
На важные Иракловы дела,
Кого судьба, в знак доброго привета,
По языку недаром назвала:
Чтоб богатырь стряхнул свой сон глубокой,
Дал звук густой и сильный и широкой,
Чтоб славою отчизны прогудел,

¹ Это не может относиться ни к гекзаметрам Жуковского, ни Гнедича, потому что они не зазубрены спондеями. Автор.

Как колокол из меди лит Рифейской,
Чтоб перешел за свой родной предел.

Рим. [14 июля] 1830 г.

[ПУШКИНУ]

Вменяешь в грех ты мне мой темный стих,
Прозрачных мне ненадобно твоих:
Ты нищего ручья видал ли жижу?
Видал насквозь, как я весь стих твой вижу.
Бывал ли ты хоть на реке Десне? —
Открой же мне: что у нее на дне?

Вменяешь в грех ты мне нечистый стих,
Пречистых мне ненадобно твоих:
Вот чистая водица ключевая,
Вот Алеатико бурда густая!
Что ж? — выбирай, возьми любой стакан:
Ты за воду... Зато не будешь пьян.

[1830]

ОДА ГОРАЦИЯ ПОСЛЕДНЯЯ

(IV, к. 16)

«Что грязен, Тибр? — Струя желта, мутна!
Иль желчью ты встревожен беспокойной,
И чует то сердитая волна,
Что пьет ее римлянин недостойный?

Иль от стыда ты бег торопишь свой?
Почто же ты не держишь злой стихии,
Не стелешься кристальною волной
И не глядишь на небо Авзонии?» —

«Мне недосуг: не спит моя волна:
Я мою Рим, я града освяtitель;
Я, нагрузив нечистым рамена,
Бегу в поля, усердный их поитель, —

И тороплюсь в безбрежный океан,
Что землю всю водами убеляет:
Приемлет он грехи моих римлян
И с волн моих нечистое смывает.

Но тщетно я, последний гражданин,
Свой правлю долг, в пример, без укоризны:
Себя несу на жертву я один
Целению и здравью отчизны.
[1830]

РОМУЛ

ТРАГЕДИЯ В ПЯТИ ДЕЙСТВИЯХ

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Явление первое

Сцена представляет скат холма, кой-где деревья и под ними хижины пастушеские; в середине большая олива и у подошвы ее статуя Пана и жертвенник с горящими углями; ближе к сцене дерновая скамья. Старик Фаустул с пучком трав выходит на сцену, приближается к жертвеннику и преклоняет колена.

Фаустул

Кормилец Пан! тебе сей знак дарую:
Пошли земле сторичный дар плодов,
Пошли стадам обилие родов
И волну на овцах расти густую!
Отвей от них губящий хлад зимы,
Тлетворное дыхание чумы:
Как небеса богаты облаками, —
Так и поля белелись бы стадами!
Се ныне день, как ты послал в мой сад
Двойную ветвь от кореня царева!
Растить ее от тука жирных стад,
Сию лозу блистательного древа,
Да возрастет как дуб Сабинских гор,
Раскиннет вдаль ветвей двойной шатер
И тенью их коснется Альбы длинной!
Вкуси ж сей знак, о пастырь благодетельный!

(Он кладет травы на жертвенник; они пылают, а он бивает в оливу гвоздь, где уже видно двадцать девять звезд)

Уж солнце высоко, стада в тени,
А их всё нет... Да где ж мои малютки?

(Осматривается)

Вон там пылят!

(Манит их и кричит)

Ко мне! сюда! кто прежде?

Явление второе

Фаусту и несколько женщин выходят из хижин.

Фаусту

Эй, жены! что? мужья не приходили?

Женщины

Мы, дедушка, тебя спросить хотим.

Фаусту

Я обходил все горы, все долины
И пыли не видал, не только их:
Знать, ныне тяжела добыча будет.

Первая женщина

А у меня пиено простыло вовсе.

Вторая женщина

А у меня прокисло молоко.

Фаусту

Любовь жены всё медом разведет!
Да, хорошо кому жена подруга.
Моей Ларенции уж нет: она
Покинула мне Ромула и Рема.
Я им жена и мать.

Все женщины

Мы все твои.

Явление третье

Те же и несколько мальчишек бегут взапуски Валерий, Гораций, Муций, Юний, Секстий, Юлий и другие.

Валерий

(прибегает первый к Фаусту)

Я первый, я!

Гораций

(почти с ним, но сзади его отталкивая)

Нет, я!

Фаустул
Как, дети! спорить?

(Взвизно)

Гораций! честно говори: кто первый?

Гораций
(открыто)

Валерий, дедушка!

Фаустул
Так, лучше правдой жить!
Не удалось, — беды в том нет: в другой раз
Успеешь ты. Что, наших не видали?

Все мальчики
Нет, дедушка, нигде.

Фаустул
Так станьте ж в ряд,
Да, чур, ровней, как дружные барашки!
Кто прежде всех взберется на оливу
И скажет мне, что Ромул с Ремом близко, —
Тому в обед баранья голова.

Мальчики между тем стали в ряд.
Ну, раз, два, три: бежать.

Мальчишки бегут все к дереву и карабкаются. Старик
смотрит на них и радуется.

Пустились! любо!
Обгонят птиц! — О племя! кровь и сила!
Храни, крепи тебя кормилец Пан!

Гораций
(первый добравшись до вершины дерева)
Я первый, дедушка! — Смотри — вершина
В моей руке.

Фаустул
Вот видишь — твой черед.
Ты — молодец: быть голове твоей.

Г о р а ц и й
Там пыль видна... и что-то ярко светит...
Его, его копьё! наш Ромул близко!

Ф а у с т у л и ж е н щ и н ы
Ну, слава Пану!

Г о р а ц и й
(товарищам)
Други! к ним навстречу!

Они хотят слезать.

Ф а у с т у л
(с угрозой)
А кто велел? — Без спросу не слезать!
Хоть молоды, а будьте терпеливы.

М а л ь ч и к и остаются на сучьях дерева и с любопытством смотрят оттоле на все то, что внизу происходит.

Явление четвертое

Т е ж е и Р е м с своей шайкою, несущю добычу: А п п и й,
К в и н т и л и й, В и р г и н и й, С и л ь в и й, А н ц и й и другие. Немного спустя и Р о м у л со своею.

Р е м
(Горацию, сидящему на дереве)
Ты вдаль смотрел, а не видал вблизи,
Что Рем уж под тобой?..

(Подходя к Фаустулу)

Отец, здорово!
Товарищи! кладите же добычу.

Ф а у с т у л
Здорово, сын! Что ж ты не с братом вместе?
Вам врознь ходить не надо никогда:
Вы вместе жили — в матерней утробе;
Рука с рукой судьба вас зачала.
Не ранен ли уж Ромул?

Р е м
Нет, не бойся.
Мне ль отойти от раненого брата?

Мы спорили — которая из шаяк,
Моя или его, даст прежде весть
О счастливой добыче: удалось
Нам обогнать.

Фаустул

Соревнованье — дело:
Стопам дарует крылья, мышцам силу,
Мечи торопит, копыя изощряет;
Но есть змея двуглавая — вражда!
Как липкой язвы, бегайте ее:
Она и матери вползает в чрево,
Она и в нем разводит близнецов.

Квинтилиий из шайки Ромула, входит.

Аппий

Кто ж первые?

Квинтилиий

Те, у кого добычи
Поменее! — тем — легче и бежать!

Аппий

Поменее? — Смотри — какая гряда!

Квинтилиий

Э! то ль у нас?

Ромул входит и вся его шайка: Гостилий, Таласий,
Деций, Брут, Прокл, Юлий и другие. Всякий из них
несет что-нибудь, так же, как и Ремова шайка.

Ромул

Товарищи! не спорить!
Все в общину! перед глаза отца!
Он не оделит нас... Отец! здорово.

Фаустул

Здорово, сын!

Ромул

Недаром вещий коршун
Проречил нам добычу золотую!

Фаустул

Где ж были вы?

Ромул

За Тибром воевали.

Нас будет помнить стадо Нумитора!

Наказаны злодеи пастухи:

Они гостями к Вейенцам забрались

И ночью втай добро их обокрали;

Мы сведения, настигли днем воров,

И их добыча — вся у нас.

Между тем все пастухи слагают всё в одну кучу: шлемы, копья,
мечи, кольца, ожерелья, цепи, запястья и другие вещи.

Аппий

(рассматривая добычу)

Не вся!

Утайка есть — клянуся Паном!

Все пастухи удивляются.

Ромул

Как?

Чего же нет?

Аппий

Застежки золотой,

И утаил ее — Гостилий!

Гостилий

Я?

Ромул

Не может быть!

Гостилий

(Аппию)

Ты верно знаешь?

Аппий

Знаю:

Ты с тем дрался, на ком она горела

(Показывая на жаровню)

Как этот уголь. Что, не помнишь?

Г о с т и л и й
(припомнив)

Помню.

Так, братцы, виноват, я не принес:
Бой жарок был; как я свалил врага,
Так, с радости, забыл и про застужку.

А п п и й
Увертка, ложь! Мы к трупу подходили;
Застежки не было. (Всем) Не так ли?

М н о г и е

Так!

Р о м у л
Гостилий! быть не может: оправдайся.

Г о с т и л и й
Не стану я звать всеу имя Пана.
(Аппию)

Обыскивай.

А п п и й
Зарыл! Отроешь после!

Г о с т и л и й
Зарыл! . . Так чем же доказать?
(Оглядывается)

Вот угли!
Пускай на них сгорит рука моя, —
И если я, во время жаркой пытки,
Поморщуся иль палец поверну, —
То — слышите ли, други? — я утайщик!
Пусть левая мою очистит совесть,
А правая еще годится вам же!

Он кладет левую руку на угли, простирая правую к ним:
одежда вспыхивает.

В с е

Он прав! Он прав!

Р о м у л

(бросается тушить руку Гостилия и обнимает его)

Гостилий, полно! — Солнце

Завтра не взойдет, коль ныне ты

(Озираясь кругом)

Изменишь честности! . . Где ж виноватый?

Кто прав, — тот на меня уставься прямо

И твердым оком отрази мой взгляд.

Молчание. Р о м у л проводит кругом пронзительный взгляд. Все устремляют на него прямые, искренние взоры; но внезапно взгляд Ромула встречается со взглядом А н ц и я из шайки Ремовой; виновный не выносит, потупляет очи. В это самое время Р о м у л вскрикивает.

Утайщик — вот! — Я пригвоздил злодея.

Все изумляются; А н ц и й при слове: «Утайщик!» — побледнел, затрясся, выкинул застежку и бежать.

Р о м у л

Пращой его! пращой казните вора!

Чтобы земля напрасно не носила

Изменника!

Все хватают камни и хотят бежать вслед за Анцием

Ф а у с т у л

Ни с места! Камни прочь!

Все останавливаются.

Смирите гнев! В сей день не надо крови!

Изменника судьба сама найдет.

Велик сей день — и кровию бесчестной

Не обагряйте мирный праздник Пана!

А п п и й

(преклоняя колено пред Гостилием)

Простишь ли ты меня, Гостилий? — Долю
Мою возьми себе.

Г о с т и л и й

Встань, Аппий, встань!

Я не сердит и доли мне не падо.

Р о м у л

Забыто всё, товарищ, — и Пану
Благодарение, что в нашем чистом стаде
Он истребил поганую овцу.
Пора на Луперкалии, друзья!
Там бога стад и жертвами и бегом
Почтим. Соседи, верно, собралсь:
Сабинцы, Альба . . . Мы не опоздаем.
Эвандрова пещера не далеко.
Слагайте же и копья и мечи:
Не терпит их миролюбивый Пан.
Прости, отец! — Вперед, с оливой мира!

В продолжение сих слов Р о м у л сложил с себя доспехи: так
сделали и все. Женщины принимают и уносят вместе с добычей
в хижины.

Ф а у с т у л

Простите, дети! — Пан блюди ваш путь.

Р о м у л и Р е м, сорвавши оливныя ветви, уходят вперед. Все
за ними, сделавши то же, кроме Фаустула и мальчишек на дереве.

Явление пятое

Ф а у с т у л и мальчики на оливе попрежнему.

Ф а у с т у л

(проводя их взорами, с умилением подходит к эсертвеннику)

Кормилец Пан! — Ты видишь эти слезы:
Как сладко мне на старости их лить!
Средь табунов воскормленный народ,
Как конь послушный и как лев могучий;
Кровь пылкая и чистая как день;
Душа свободная, как Тибр в разливе;
Нрав непорочный, как снега нагорны,
Как шерсть на агнице новорожденной . . .
Всё это плод твоих благословений,
Всё это дар Юпитера и твой.

(Вставши и вышед на авансцену)

Даруй же, Юпитер, мне вещий знак!
Благий и вышний! близок ли тот день,
В который я, из тесного затвора,

Я, ветхий пастырь, изведу на поле
Созревшее, упитанное стадо,
И тайну велию познает свет?
О, Юпитер, даруй же мне ответ:

(Простирает взоры к небу.)

Г о р а ц и й
(с вершины дерева)

Ягнечок! бедняжка!

Ф а у с т у л
(обращаясь изумленный, быстро подходит к дереву)
Что ты видишь?

Г о р а ц и й
(не слыша слов его, продолжает, вглядываясь вдаль с дерева)
Шугу! шугу! . . нет, не боится вор!
Ох, крыльев нет . . . уж я бы дал ему!
Да что это? . . Смотрите . . ай — орел!
Цап — ястреба . . Ягненок наш! победа!

Ф а у с т у л
(нетерпеливо)
Слезайте, дети. Расскажи, Гораций:
Что видел ты?

М а л ь ч и к и проворно слезают. Ф а у с т у л уводит Горация
на авансцену; прочие сходятся около жертвенника.

Г о р а ц и й
Я видел . . с Авентина
Слетел злой ястреб . . да и ну кругами
Кружить над нашим стадом . . Выбрал он
Ягненка — что ни лучшего из всех . .
Вчера родился . . беленькой да полный . .
Ты сам его для алтаря назначил . .
И цап было его злой ястреб . . Да орел,
Откуда ни возмись, упал с небес
Как молния и в ястреба впился.
Уж мне б его он отдал . . Я б злодею
Вперед летать на стадо заказал.

Фаустул

Чудесный знак! послание небес!

Орлы недаром с неба налетают.

Садится на скамью, задумывается и вперяет очи в землю Между
тем мальчишки около жертвенника играют; к ним подходит
Гораций.

Муций

(у жертвенника)

Вы видели, как руку положил

Гостилий на жаровню? — Кто не трус?

Я вызываю! . . Кто со мной положит?

Все

(готовые класть, кроме Горация)

Я, я кладу.

Гораций

Нет, други, погодите!

Не мудрено так руки нам сожечь,

А руки надобны. — Вот лучше как:

Возьмем по углю; кто продержит доле,

Тому венок оливный. . . Я беру,

Берите вы.

Все

Берем, берем, берем!

Все берут в руки по углю и держат на ладони.

Юний

(бросая)

Нет, горячо!

Секстий

(тоже)

Ладонь прожжешь!

Юлий

(тоже)

Нет, полно!

Валерий

(который держал вблизи и дул на уголь)

Мой всех горяче был.

Г о р а ц и й

(хитро потряхивая на ладони уголь)

Зачем ты дул?

Огонь ведь не вода. . . Чем больше дуешь,
Тем будет горячей. . . Хотел схитрить. . .
Смотри, как я. . .

В а л е р и й

(с досадой)

А сам ты не хитришь?

Смотрю, как ты потряхиваешь уголь. . .
Держи прямой. . . вишь, Муций держит как.
Весь сморщился — и слезы на глазах.
Кто ж правдой взял? Решайте!

В с е

(в один голос)

Муций! Муций!

В а л е р и й подшиб уголь у Горация, который сам кричит: «Муций!» — и идет к оливе, рвет ветку и венчает Муция. Между тем Фаустул, который во все это время сидел, безмолвно погруженный в свою думу, пробуждается при шуме детей и встает.

Ф а у с т у л

Они шумят и думу прогоняют.

(Детям громко)

Пора вам в Тибр птти, — да из-под тени
Не худо выгнать стадо!

Г о р а ц и й

Други! В Тибр!

Нам дедушка велит. . . Пойдем. . . Вот, Муций,
Венок тебе. . . вперед!.. мы за тобой.

Муций, увенчанный, идет вперед, они за ним; Гораций останавливается и подходит к рассказывающему в думе Фаустулу.

Г о р а ц и й

Я видел, ты сегодня уж тридцатый
Гвоздочек вбил.

Фаустул
(давая ему знак идти)

А ты смекнул?.. Ступай.

Гораций убегает за остальными.

Фаустул
Чудесный знак! Послание небес!

Он садится, погружен в думу.

Явление шестое

Фаустул и Кармента.

Кармента
(вне сцены)

Мир пастырю и здравие стадам!

Фаустул
(изумленный)

Карменты глас!.. Он кстатн раздается.

(Идучи к ней навстречу)

Пророчице моя открыта куща:
Прошу войти.

Кармента
(неся на руках пурпуровую ткань и на ней венец)

Царевна, жрица Весты,
Шлет в дар тебе для жертвоприношений
Этрусской пурпур и златой венец:
Прими же их.

Фаустул
(приняв дары, кладет их у жертвенника)

Благодарю царевну,
Благодарю посланницу ее!
Приемлю их — и вышнего молю,
Чтобы они сынам ее достались.

Кармента
Желает знать о здравии детей:
Разумно ли, согласно ли живут?

Покорны ли твоей отцовской власти?
Трудятся ли и сильны ли в войне?

Фаустул

Они и свет и разум в наших куцах:
И старые и малые равно
И плуг и меч и смысл им уступают.
На сходке ли, где старцу лишь почет,
На поле ли, когда межуют пашню,
В бою ль с соседями — везде цари!
К мечу всегда прилежнее, чем к плугу;
Своих друзей на шайки разделили,
Но сей раздор их миру не мешает, —
И разумом всегда сильнее Ромул.
Добычу всю ко мне приносят честно
И в общину кладут: им часть делю,
Другую часть в казну под стражу Пана, —
И ладно мы живем; мой знак один
Для них закон святой; хоть силой львы,
Покорностью — как малые ягнята. —
Блюди их Пан — и в них цари созреют.

Кармента

Мать одного боится лишь — раздора.
Всеведущие боги не хотели,
Чтоб сын один от Марса был рожден,
И потому родились близнецы.
Но горе им, коль искра злой вражды
Падет в сердца!..

Фаустул

Не бойся: два коня
Дружней бегут к мете, чем конь единый;
Чета быков скорее вспашет ниву,
Чем вол один, хоть силой равен двум.
Тут сила гонит силу: нам не даром
И две руки и две ноги дал вышний.
Утешь царевну: сыновья ее,
Как две весенних голубицы дружны.
А что она? — всё в четырех стенах,
Все так же плачет?..

Кармента

И о том лишь молит,
Чтобы судьбы, прядущие нить жизни,
На тот лишь день покинули ей пряди,
Когда сыны, летами возмужав,
Приидут в дом их царственного деда
И примут власть: вот в чем ее забота,
Вот грусть ее!

Фаустул

Она и мне знакома.
Уж шестьдесятый раз земля линяла
С тех пор, как я узрел ее в сей куще, —
И зрю, быть может, уж в последний раз.
Как тяжело пахарю, взлелеяв ниву,
И класа спелого не сжавши, — лечь
Туда, отколь росла его надежда. . .
Когда б я мог премудрыми очами
Прозреть туда и видеть то, что будет,
И будет ли по сердцу... о! спокойно б
Свой ветхой груз с земли сложил я в землю.

Кармента! ты невинных близнецов
От матернего лона восприяла;
Ты веденью этрусскому училась;
Ты, вещая, в народе пастухов
Слывешь всезнающей: тебе открыто;
Что будет там, как солнцу моря глубь
Или загорие Сабинны смежной.
Вещай мне: близок ли великой день?
Вещай, да ветхие разыграют кости!..

(Идет к жезртвеннику)

Кармента

Как я от Альбы нисходила в поле
Сегодня утром, — солнце востекало
Кровавое, — и вдруг ко мне навстречу
С семи холмов слетело семь орлов:
Великой знак Юпитер мне послал!

Фаустул

(взявши сосуд с вином от жезртвенника и подавая его Карменте)

Мне было то ж вещанье от орла!
Прими ж вино, взойди на холм высокой,

Возлей в честь богу — и что узришь ты,
Поведай мне.

К а р м е н т а

(приемля сосуд и идучи на холм)

Гостеприимный пастырь!
Да будет так по слову твоему!

(На холме, возливая часть вина на землю и подвывая взоры к солнцу)

О вещей бог! далекозрящий бог!
Твоим лучам, пьющим воды моря,
Я лью вино, да пьют из уст земли,
Как я пью из уст сего сосуда.

(Она, выпив сосуд, бросает его)

Дай взгляду слабому моих очей
И быстроту и даль твоих лучей,
Да меряю и вижу и объемлю. . .
И небеса и океан и землю!
Лечу, лечу, взвиваюсь как орел. . .
Об воздух быю могучими крылами. . .
И с высоты на неизмерный дол
Смотрю, как ты, горящими очами!

Вот семь голов восстало от земли:
На них власы дубрав густых и темных. . .
Столетними корнями в них вросли,
Как буйные рога в волов яремных.

Вот между них раскинулись луга:
По ним стада — толпами рассыпными, —
И два быка красуются меж ними:
Копыта — медь и царские рога!
Они растут и крепнут и мужают,
И вырастут и Альбу забодают!

Вот по полям мелькает желтый змей:
Он роет землю персями глубоко,
И ошиб свой кидаячи далеко,
Отрезал грань Этрурии полей.
То Тибр бежит! — бушует на просторе,
Торопится сердитая волна, —
И жадное его глотает море,
Как алчный волк невинного овна.

Вот с ним бежит сей дол, красой цветущий,
И там его иной сменяет дол,
Где не видать ни трав, ни сельской кущи,
Где волн стада пасет седой Эол,
Где их руно царь дня перед закатом,
Вдоль расчесав, румянит чистым златом.

А там, отколь восходит светлый день,
Кругом на дол бросает длинну тень
Цепь гор крутых со снежными главами, —
И облака лежат на них грядами.
Оттоль Юпитер, в сонмище богов,
Шлет молнии и громы и орлов;
Оттоле он в одном объемлет взоре
И холмы, и поля, и Тибр, и море!

Недолго вам цвести, поля и луг!
Найдет на вас железный, острый плуг,
И недра вам непаханные вспорот
И землю вашу, глубже Тибра, взорет. . .
Ее стена крутая отягчит,
И взыдет град — и будет знаменит!

Недолго вам, холмы, носить леса!
Найдут на вас секира, меч да молот,
Спугнут орлов — с дубов на небеса,
Ушлют волков морить за Тибром голод
В Этрурии!.. Здесь сосны и дубы
Во храмы сложатся, в дома, в столбы —
И взыдет град. . . и горы! — вы главами
Преклонитесь перед семью холмами!

Недолго, Тибр, течь ясною волной:
Ты вспенишься кровавою струей! . .
И на тебя, завистливое море!
И на тебя найдут гроза и горе! . .

(С возрастающим жаром: глаза сверкают, грудь вздымается)

Смотри. . . огонь, забытый пастухом,
Дымится у дубравы. . . волк идет
И бросил пень в него. . . огонь пылает. . .
Слетел орел. . . огню крылами машет. . .
И пуще он. . . но вот. . . пришла лиса. . .
Свой мокрый хвост влачит она из Тибра
И тушит огонь. . . Сильнее бьет орел
Крылами. . . пуще ветр широкой пашет. . .

Стан дуба вспыхнул. . . занялись ветви. . .
Зажгли соседние. . . горит другой. . .
В огне дубрава. . . занялося поле. . .
И океан сердитого огня
На море хлынул. . . всюду. . . всюду. . . всюду
Огонь. . . огонь. . . огонь. . .

(Сбегает с холма в Тибр.)

Ф а у с т у л

(замечавший внимательно все ее слова и движения, при последних словах встает воспаленный, следит за нею, но она убегает из глаз: он возвращается на сцену)

Не вынесла
Небесного огня. . . Душа вскипела —
И кровью налились глаза — и в Тибр
Она сбежала. . . Глас великой, чудный! . .

(Опускает голову)

Явление седьмое

Ф а у с т у л, Р о м у л, вскоре А п п и й с несколькими пастухами, потом Г о с т и л и й с остальными и наконец народ из кущей.

Р о м у л

(кричит за сценой, но последние стихи раздаются уже на сцене)

Чума, падеж на стадо Нумитора!
Чтобы чудовищей родили кравы!
Чтобы доили яд! чтоб волки жрали
Ягнят его! . . Чтоб Авентин и Альба
Сквозь землю провалились с пастухами
И с Нумитором. . .

Ф а у с т у л

(изумленный, останавливает его)

Что несешь хулу?
Запри уста, запри замком, как пастырь
От волка на ночь запирает клеть. . .

Р о м у л

Да, правда. . . Что, безумный, тешишь праздно
Пустой язык, когда рука твоя
Меча за брата просит?.. Где он? . . где он? . .

(Махая рукой как бы мечом, бежит за ним в кушу)

Ф а у с т у л
(в испуге спеша за ним)
За брата? . . Он не слышит. . .
(Входящему Аппию)

Аппий!
Что сделалось?

А п п и й
(запыхавшись)
Рем. . .

Ф а у с т у л
(нетерпеливо)
Жив ли?

А п п и й
Жив,
Но взят. . .

Ф а у с т у л
(спокойнее)
Кем? . .

А п п и й
Пастухами Нумитора.

Ф а у с т у л
Как?

А п п и й
(все еще запыхавшись)

Мы, собравшись на праздник, стали
У нашего холма. . . Бег начался. . .
Два брата побежали вместе. . . Только
До Авентина донеслись. . . как вдруг
Схватили их злодеи. . . все с оружием,
И Пана не боясь. . . Помочь не в силах,
Мы вопием к соседям. . . не хотят. . .
Бегом сюда. . . меж тем отбился Ромул
И обогнал нас. . .

Г о с т и л и й
(входя с остальными)

Рем уж отведен
В палату к Нумитору. . .

Фаустул
(обрадовавшись)

К Нумитору?

Гостилий

Да.

Фаустул
(с собою)

Слава Пану! — там он безопасней! —
Так... Час приспел... Созрела туча... Будет
Гроза...

Меж тем все пастухи хотят идти за оружием.

Куда вы?

Пастухи
За мечами!

Фаустул
Стойте!

Ромул
(возвращаясь воином с мечом, копьем и в латах, в гневе
на медлящих товарищей)

Что ж вы стоите? Иль уж он не мил вам?
Так я ж один иду за брата...

(Хочет бежать)

Фаустул
Стой!

Ромул
(весь трясется, но стоит)

Стоять!.. Когда мой брат в неволе стонет
Иль умирает?.. Мне стоять?.. Ну, что ж?..
Стою.

Фаустул
(с укоризной)

Ты ль это, Ромул? ты ль преслушен
Словам отца? от гнева весь дрожишь?
Мне грубым словом вторишь? — Ты ли сын мой?

Р о м у л

(опомнясь, бросается на колена)

Не сын твой, нет, — нет, Ремов брат теперь
Грубит тебе, колена обнимает. . .

(Валяясь в ногах и обнимая колена отца)

Бей, накажи. . . но отпусти за брата!

Все пастухи тронуты

Ф а у с т у л

(также тронутый)

Утешься, сын! — твой безопасен брат:
Поверь отцу, поверь любви моей!

(С нежностью)

Так. . . в брате Рема узнаю я сына!

(Целует его в голову)

Так. . . ты созрел для тайны роковой.

Юпитер! время ли открыть?

(Обращается направо и смотрит, все за ним: орел пролетает над ним; все изумлены)

Да. . . время!

Между тем Р о м у л, в продолжение всех слов Фаустула, изумленный, приподнимается, сначала на коленях его слушает, и потом мало-помалу встает.

Ф а у с т у л

Внимай: в последний раз ты имя сына

Из уст моих услышал. . . Ромул! знай:

Ты не пастух, не сын мой, — ты — мой царь!

(Преклоняет пред ним колена, когда Ромул только что встал. Все в изумлении)

Р о м у л

(как бы отдаляя от себя рукой слова Фаустула)

Что говоришь?. . . С умом ли речь твоя?

(Поднимает Фаустула)

Ф а у с т у л

Из уст моих глаголют сами боги!

(Обращаясь к пастухам)

Возьмите посохи, Гостиллий, Аппий,

Да кличьте клич, собирайте сходку. . . Быль
Скажу вам дивную. . . Чтоб старцы, мужи
И юноши и дети шли сюда!
Чтоб сыновья несли отцов безногих,
А женщины младенцев. . . Быль такую
Поведаю, какой от матерей
Вы в люльках не слыхали, ни Кармента
Не пела вам, ни старцы не запомнят.
Святое чудо совершилось здесь;
Нас боги посетили в смиренных куцах!

Между тем, в продолжение сих слов, народ всякого возраста
стекается из кушей, по зову Аппия и Гостилия, взявших
посохи бирючей: все толпятся кругом.

Что, все ли здесь? все ль слушают?

В с е

Все! все!

Ф а у с т у л

Садитесь же кругом, внимайте были:
Поведаю, что мой отец покойный,
В премудрости этрусской искушенный,
За разум вами и по смерти чтимый,
Мне завещал; что двадцать я лет
Хранил в себе, — то ныне перед вами
На свет изыдет. . . внимлете ли?

В с е

Внемлем.

Между тем все: старцы, мужи, юноши, немногие жены с младен-
цами уселись полукружием на сцене в разных положениях людей
внемлющих около Ромула и Фаустула, которые сидят в середине
у оливы и алтаря на почетных скамьях, придвинутых двумя бирю-
чами, а бирючи, Г о с т и л и й и А п п и й, стоят по обоим кон-
цам полукружия, посохами повелевая молчание.

Ф а у с т у л

Чур, слова не ронять из дивной были!
Чур, передать ее и чадам вашим,
И чадам чад, чтобы до поздних внуков
Дошла она, из рода в роды мчалась,
Как реки через реки в океан.
Кто ж веры не поймет к ней, — того
Да не возлюбят боги всеблагие!

Молчание.

Жил Прока, царь высокой Альбы; помер
И двух сынов покинул: старший
Был Нумитор, Амулий меньший: он,
Против отцовой воли брата свергнув,
Не только взял насильем царской посох,
Но и извел мужское племя брата;
И Рею дочь нарек он жрицей Весты,
Как будто честь творя, питая ж умысл,
Да вечным девством племени лишит.
Но чудо совершили боги: жрица
Однажды по воду пошла в дубраву
Святую... вдруг затмилось солнце... день
Померк... и бог, сам Марс, сошел на землю,
Поял ее... и зачался племя.
Но боги не хотели, чтоб один
От Марса сын родился: мощь такая
Страшна б была: зачаты близнецы.
Открылось дело; взгневался Амулий:
В оковах мать, — а чада, как родились,
На жертву преданы волнам. — В то время,
По воле промысла, разлился Тибр.
Губители, бояся в глубь итти,
Челнок с детьми оставили у фиги
Близ нашего холма: вода сбыла, —
И дети сушей приняты. — Молва
Уж донесла злодейство в наши кущи.
Отец мой шел в то время вдоль по Тибру
И видел... что ж? — Волчица, видно с жажды
Спеша к реке, на вопль детей пришла
И, млечные сосцы в уста им вдвинув,
Их как волчат лизала языком.
Вздвигнулся он — и созвал старцев: зрели
То чудо все. Старик младенцев взял
И мне принес их вместе с челноком,
Который я и ныне сохраняю;
А мы с Ларенцией бездетны были
И радовались сей находке. — Тайно
Меж тем родитель дело распознал,
У Реи был, поведал ей приметы,
И, завещав мне тайну роковую,
Скончался он. — Со времени спасенья
Я каждый год, в день оный, гвоздь вбивал
(Обращается к оливе, и все за ним смотрят)

В сию оливу... Впдите ли?... Тридцать
Гвоздей года питомцев означают.¹
А дети вырастали: сам, как мог,
Их пастырскому разуму учил,
Гаданью птиц, внушая страх к богам,
Как мой отец и дед меня учили.
Пришла пора — и в Габбию отвез:
Там греческим навыкли письменам
И звездному искусству, и этрусской
Премудрости: как грады строить, войны
Водить, суды рядить и год считать,
И чтить богов, и жертвами их славить,
И волю их на птицах узнавать.
Окрепши духом разума и сплой,
К нам возвратилися: вы сами зрели,
Как с ними к нам пришли и ум и мощь.
Соседи все за разумом, за правдой
Ходили к нам; злодеи же боялись
И нашего меча и нашей правды;
Все счастьем считали к нам прижиться;
Мы завели своих быков, овец;
Стада плодились; кущи богатели;
Благословение небес текло
На нас, как Тибр, весною, в водополе...
Отколь же всё? — Нас посетили боги;
Здесь, в низких кущах, между наших стад,
Питалась ветвь царева, чада Марса!..

(Встает — и все за ним)

Склоните же колена и главы
Перед одним из посланных на вас,
Благословенных небом близнецов:
Признаем власть и чудеса богов!

Он и весь народ преклоняют колена перед Ромулом.

Р о м у л

(всем)

О встаньте!.. Первым словом царским вам
Да будет: встаньте!

(Поднимая Фаустула)

¹ Заметить актеру падение стиха вместе с пальцем, показывающим гвозди. *[Зачеркнуто карандашом М. А.]*

О родитель мой!

Нет, тяжко мне и сердце и язык

От имени святого отучить!

Нет, будь моим отцом, будь им вовек!

И жизнь моя, и царской род — твой дар.

(Обнимает его и с почтением целует его руку. Потом, вышед вперед)

Так... верю в чудо... чую... чую... Волчье

Млеко горит в сих жилах!.. Марсов дух

Трясет копье и движет меч в деснице!

Месть боязня во мне кипит за деда,

За мать, за брата, за себя... О други!

Теперь за мной пойдете веселей:

Уж не пастух ведет вас — сын царев!

Пастухи стоят вдали неподвижно и грустно, сложив
руки и понурив головы. Р о м у л изумляется.

Что ж радостью не блещут ваши очи?

Главы к земле опущены! Друзья!..

Что ж мрачны так? так немые, неподвижны?

Г о с т и л и й

(выходит из ряду и приближается к Ромулу)

Хоть ты равно любил нас, но Гостилий

Всех ближе был к тебе, не зная про род твой,

Любя в тебе лишь пастуха простого:

Так от него ж и первый правды глас

Услышишь ты: внимай и не гневись.

(Подходя к нему близится)

Да, мы бодрей шли прежде за тобой,

Когда ты был наш брат — пастух, нам ровный.

(Отступая)

Теперь ты — царь, мы — те же пастухи!

Ты будешь там, на Альбе, высоко,

А мы все здесь — на низких долах Тибра.

Забудешь ты сей холм, сии стада,

Товарищей и колыбель свою,

И будешь царствовать, а мы — пасти!

(Отходит к пастухам)

Р о м у л

(подбегая к ним)

Ужель так мало знаете вы друга?
Иль он переродился? иль не тот стал?
Да ближе, други! . . шупайте, смотрите. . .
Все тот же я. . . все тот же Ромул, брат ваш,
Пастух, как вы. . . о! мне ль покинуть вас?
Я ваш. . . я ваш. . . я к вам прирос душою. . .
Что в Альбе нам? . . Ветшает трон отцов. . .
Гниет их посох. . . кровию заржавел. . .
Того и жди, что Альба рухнет в пропасть,
Над коею воздвигнута она!
На месть одну я вас сзываю в Альбу,
Чтоб деду ветхой трон отдать, взять брата
И мать почтить. . . А там. . . внимайте, други. . .

(Сильно)

Как молния блеснул великой замысл. . .
Придем сюда, на колыбель, в стада —
И на холму построим. . .

В с е

(в один голос с Ромулом)

Город! город!

Всё ожило: шум и радость.

Р о м у л

Народа глас — глас божий! — Будет град!
Искусству я строителей учился:
Впряжем вола яремного с телицей,
Незнающей ярма, в зубастый плуг;
Прорежем ров. . . из камней сложим стены. . .
Сзовем граждан отсюда. . . в роще ближней
Откроем всем притон, да идут все,
Как в кущи шли на общее житье. . .
И взыдет град, благословен богами,
И вырастет. . . и будет выше. . .

П а с т у х и

(подхватывая в один голос)

Выше Альбы!

Ф а у с т у л

(подает знак, и все умолкают)

Внемлите, дети, слову моему!
Град строить — дело! — Но ужель вы мните,
Что, стены плотные сложив повыше,
Упрочите и град — и будет крепок?
Мы и без стен да крепко жили в кущах:
Ни тать, ни враг не смел обидеть нас,
А отчего? . . . Всему был чин да кон,
И свято он хранился в страхе Пана.
Кто клетки в час урочный не запрет,
Кто чумную овцу укроет в стаде, —
Тот смертью, преступный, умирает!
Никто *закон* не преступал. . . и были
Стада от волка целы, клетки крепки.
Так вы, друзья, стеною обведя
Свой град, его законом оградите,
И сей закон да будет вот какой:
*«Кто прешагнет святые стены, — тот
Да умрет смертью, десницей стража!»*
Коль не поставите сего закона,
То разбредется ваше стадо врознь.
Потом чредой ходите в ночь на стражу.
Но град как тело не о двух главах,
А об одной быть должен. . . потому
Вы, разумом призвав в совет богов,
Из царственных вам данных близнецов
Главу себе воздвигните едину.
Закон и царь — вот крепость городов! . . . —
Так нас учили деды: так вы стройте.

Р о м у л

Быть так! быть так! хвала, отец разумный!

П а с т у х и

(шумно)

Так сделаемся! ай да пастырь дед!

Р о м у л

Клянись же: на Альбу все за мною,
А я клянусь: на холм, в стада — за вами!

(Протягивает правую руку к эсертвсннику Пана)

П а с т у х и

(протягивают правые руки туда же, и взявши посохи в левые)

Клянемся Паном! . . Где мечи? . . где копыя? . .

Ф а у с т у л

(взявши костыль пастуший, у жертвенника Панова, торжественно)¹

Благодарю, кормилец Пан! — Приспел
Великой день! . . Ликует пастырь-дед!
Исходит днесь упитанное стадо!
Идите, пастыри! — из сеней Пана
Вас предаю под Марсову десницу!
Пастуший посох заострите медным
Копьем. . . плуг перекуйте в меч. . . быка
Смените на коня. . . воловыи кожи
Сплотите в крепкой щит. . . Изыди, стадо!
Беги, разумное! пасись по воле!
Тебя дед-пастырь гонит в поле! . .

В с е п а с т у х и

(с Фаустулом, бросив посох: и потрясая копыями и мечами, которые они в продолжение его речи взяли)

В поле! . .

П а с т у х и идут скоро, с шумом и криком, кругом по сцене слева от жертвенника, где они стоят. на правую сторону; Р о м у л впереди; Ф а у с т у л за ними, торопя их костылем, как пастух стадо; за Фаустулом бегут мальчишки.

ДЕЙСТВИЕ ВТОРОЕ

Театр представляет поле и хижинны кой-где: в глубине стена, взведенная из камней, просто сложенных, как древние этрусские стены; за стеною видно поле и горы; по сцене накинано несколько камней и крупных и малых, остатков от деланной стены; у хижин скамьи; ворота стен открываются и затворяются произвольно. Время к ночи.

Явление первое

А п п и й входит с Ремовой шайкой,

А п п и й

(товарищам)

Эй. . . слышите ль? . . Дружней стоять за Рема!

¹ Должно, чтобы Фаустул стоял с народом, то есть с старцами, немногими женщинами и мальчиками по правую сторону алтаря, а Ромул с пастухами — по левую.

Держать востро и глаз и меч. . . Не то —
Царь Ремов будет Ромул, наш — Гостилий, —
И мы — Гостилия рабы! . .

(С усмешкой)

Рабы! . .

(Фабия, стоящему близе всех)

Что, Фабий? . . Чуешь ли? . . Ты раб! . . Уж лучше
Быть пастухом. . . да что я — пастухом?
Уж лучше быть овцою, чем рабом!

Ф а б и й

(и все с жаром)

Да, лучше быть овцою, чем рабом!

А п п и й

А Фаустул всё Ромулу мирволит.
К Карменте, говорят, пошел. . . Зачем? . .
Совет творить? . . Да, сотворит совет —
И скажет вам, что Ромул старше Рема,
Что первый он явился из утробы
И брату путь на царство перебил.
Да, верь ему. . . За Рема ж сами боги. . .
Шесть коршунов. . .

Явление второе

Те же и Гостилий с шайкою Ромула.

Ю л и й

(прерывая слова Аппия)

А нам двенадцать!

А п п и й

(оборачиваясь с презрением)

Двенадцать, но последних. . . Упредили!
Все наши же. . .

Ю л и й

А наши перегонят
По коршуну на брата. . . Целых шесть
Еще останется. . .

А п п и й
(с гневом обнажая меч)

Так попытаем,
Чьи когти глубже пронзят? чьи крылья
Сильнее бьют?

Г о с т и л и й
(выходя между ними)

К чему ж, когда завтра
Решится все без крови?

А п п и й

Да, решится
По-вашему. . . Уж всё решили боги,
А прочее пускай мечи решат. . .
Да, трусы вы. . . вас не взманишь на меч. . .
Вам всё бы хитростью. . .

Г о с т и л и й
(обнажая меч)

А! коли так, —

Давай!

А п п и й
(своим)

Друзья! Рем — царь.

Г о с т и л и й
(и вся его шайка)

Нет, Ромул! Ромул!

Все обнажают мечи и готовы к бою.

Явление третье

Те же и Р о м у л вооруженный.

Р о м у л
(разлучая их)

Никто не царь! . . Долой мечи! — Не царь,
Страж города велит вам. Ночь святую
Почтите вы согласной тишиной,
Чтоб в первый раз слетевши с ваших стен,
Не принесла она к богам хитона,
Омытого в крови убитых братьев.

Подите к сну. . . Я с братом кинул жребий. . .
Он выпал мне: я ныне град стерегу. . .
Заутра все решит. . . Почийте с миром! . .
Хранитель ваш над вами не воздремлет,
Равно храня друзей и недрузей.

Г о с т и л и й с своими уходит.

А п п и й

(отводя своих в сторону)

Друзья! — и тут за Рема стали боги:
Рем спи царем, а Ромул будь на страже.

Уходят.

Явление четвертое

Р о м у л один, спустя немного.

Р о м у л

Построен дом. . . Хозяин не бывал,
А уж змея гнездится в основаньи;
Построен град, еще не избран царь,
А уж раздор пришел и воцарился.

.
Святая ночь! что сокрываешь ты?
Что за тобой всезрящий день увидит?

.
Права одни: мы — братья-близнецы,
В единый час зачаты, рождены, —
И обоим, во знаменьях святых,
Равно с небес благоволили боги:
Шесть первых коршунов ему послал
Юпитер; мне — двенадцать, но последних.
Весы испытаны — и стали ровно:
Земной ли разум разровняет то,
Что так чудесно уравнил небесный?
Что ж? . . вместе править? . . править двум царям?
Ведь пастухов водили мы вдвоем же,
Так отчего ж и град не повести?
Нет, град — не куща, — да и там над нами
Единый был правитель Фаустул:
Он устарел — и посох нам вверяет;
Когда ж при нем мы града не уставим,

То без него погибнет подвиг наш.
А двум — нельзя; отец же говорил:
Пойдет ли плуг, когда из двух волов
Один туда, другой сюда потянет?
Единый царь иль граду не бывать! . . —
Что ж? — Разойтись? — Но как? — Разрознить
силы? —
Отец же нам из детства был твердил:
Возьмите пук дубовых лоз: ломайте, —
Не ломаются; — разбейте же на прутья, —
Все столько ж их, но силы той же нет.

(Взявши камень за верви, к нему с боков призванные)

Вот испытай, тащи за верви камень
Руками врозь иль соедини их вместе:
Что легче будет? — Нет, не разойдемся,
Не рассмеешься, злобный Авентин! —
Но как же быть? — Весы все так же ровно
Висят пред нами: кто же перетянет? —
Уж боги отреклись: коль глас отца,
Глас матери и деда не осилит. . .
Ужели меч? Ужели кровь нужна?
Добро бы в месть, добро б закона ради, —
Нет, из того, кому идти вперед,
Всё стадо прежде надо перерезать?
На брате брату лечь? — И всё за посох! . .
Так что ж мы строили? не град — костер?
Затем ли кущи обвели стенами,
Чтоб перерезаться вольнее было,
Чтоб Авентин захохотал над нами
И чтоб Сабина повторила хохот? . .
Нет, никогда! . . Что ж, Ромул? — Уступи, —
И победишь — ты разумом смиренным!
О брат соперник! . . Как ни сладок посох,
Как мне ни весело идти вперед, —
Уж так и быть. . . Стунай. . . неси его,
Иду последний в стаде, тихо, смирно,
И покажу другим я, как идти! —
Но слабый брат! — Ты удержишь ли? Что, если
Уронишь посох, и поднимет Аппий?
И стадо разбредется? — Аппий, первый,
Перешагнет закон ногой проклятой,
И рухнет град! — И стены распадутся!

И пуще захохочет Авентин,
И горы все подымут правый хохот! . .
О брат! о брат! зачем ты не один?
Зачем мой дух и сила не в тебе?

Молчание.

Что ж будет завтра?

(Вдруг оглядываясь)

Чу! . . закаркал ворон!

(Подходя к воротам и глядя на небо)

Вот он! . .

(Заглянув в ворота)

Что это? — там огни сверкают? . .
Нет, волк бежит. . . Глаза горят, как угли. . .
Вран! . . Волк! . . Как будто чуют трупы! . . Стал
Уж бою быть? Не быть же: уступлю.
Темнеет ночь. . . и всё кругом уснуло. . .
Пора, пора уж стены обойти!

(Уходит и закрывает ворота)

Явление пятое

А п п и й, держа в руках овцу с связанными ногами; за ним Р е м.

Р е м

Что грустен, Аппий? что за дума в сердце?
Зачем связал? куда несешь овцу?

А п п и й
(холодно)

Что говорить? — Ты думе не поможешь.
Овца нужна.

Р е м

А, может, помогу:
Ты прежде верил мне и открывался.

А п п и й

Пожалуй, и теперь откроюсь я:
Овцу готовлю я на завтра, в дар
Гостилию, а думаю о том,
Как молвить речь, как низко поклониться.

Р е м

Кому?

А п п и й

Гостилию! — Мне странно то,
Что ты не думаешь, как то же сделать
Пред Ромулом?

Р е м

(нетерпеливо)

Что сделать?

А п п и й

Поклониться.

Р е м

Не кланялся я брату никогда:
Я обнимал его.

А п п и й

Да, брата

Ты обнимал, а завтра уж к царю
Придешь.

Р е м

К царю!.. Да кто ж тебе сказал,
Что будет он царем, когда и боги
Ни за кого?

А п п и й

Ты сам же говоришь.

Сам жертвуешь богами данным правом!
Ни за кого? . Кто прежде видел птиц?..

Р е м

Я временем беру, а он числом:
И боги говорят — права одни.

А п п и й

Кому ж решить? — Известно — Фаустулу,
А Фаустул — известно, как решит.

Р е м

Да если б я и уступил разумно, —
К чему ж поклон и низкие дары?

А п п и й

(с досадой)

«Да если б ты и уступил разумно?
Да если б ты?..» Уж по словам я вижу,
Что ты готов теперь же уступить!..

(С чувством негодования)

Ах, я глупец! — Чума на то мгновение,
Когда твою я шайку предпочел!
Будь я у Ромула, — не то бы было;
Нейти бы мне с дарами!..

Р е м

(прерывая его)

Аппий! Аппий!

Твое раскаянье обидно мне.

А п п и й

Тебе обидно: мне же каково
Соперника честить поклоном рабским?
Ты думаешь: простит он нареканье?
Простит он мне обидную ошибку?
Ну, что ж?.. Поможешь ты? — Не прав ли я?

Р е м

Да в чем ты прав? ведь выбор не решен?

А п п и й

Но если ты разумно уступаешь?
Кто ж за тебя, коль ты забыл себя?
Когда мы встретились, куда ты шел?
Спокойно спать. — А где твой брат? где Ромул?
На страже он: он бодрствует, не спит;
Он думает о завтрашнем совете,
Сзовет друзей, Карменту, Фаустула
И бдением себе добудет град,
А ты проспишь.

Р е м

(нетерпеливо)

Что ж делать?

А п п и й

Сам не знаешь?

Пожалуй: я скажу — что я бы сделал,

Когда бы был тобой. Вот видишь стену:
Схватив овцу, перескочил бы с ней;
Зарезал бы, провел бы след кровавый, —
И там зарыв, махнул бы я назад,
Спроворив всё хитро и осторожно.
Вот день взошел, давай считать овец.
Вчера все были, ныне нет одной,
И найден след. . . Кто ж был на страже?—Ромул.
Так где ж плохому стражу быть царем?
И все решат: ты царь! — Что? каково?

Р е м

Нет, злой совет! — Я не пойду на брата.

А п п и й

Зачем же спрашивал? — Совет мой зол!
Да сам твой брат против тебя идет же,
Ведь на тебя он строит же советы,
Зовет отца, Карменту и друзей:
Так отчего ж тебе не умышлять?
И где ж тут зло? — Ты брата испытываешь:
Сам Фаустул, когда мы были в куцах,
Испытывал же нас: бодры ль на страже?
Не крепко ль спим?

Р е м

Но как против закона
Переступить?

А п п и й

Эх, царь! . . Против закона!
Учился ты, чужие видел грады,
Глядишь в цари, а что есть царь — не знаешь.
Ведь ты теперь не в куше, не пастух,
Так разум твой не должен быть пастуший.
Ты царской внук, ты завтра царь, а царь —
И над законом царь, не раб его.

Р е м

Ты силен речью: ум с тобой не сладит,
Но сердце говорит иное.

А п п и й

Сердце! . .

Не говорит оно. . . я знаю. . . трусит:
Ты трус.

Р е м

(оспыжнуе)

Не трус я — нет!

А п п и й

Перескочи же!

Р е м

(горячась)

Я трусом не бывал. . .

А п п и й

Перескочи же!

Р е м

Коль уж на то пошло, — давай овцу!

(Бежит с овцою к стене и, перебросив овцу, перелезает через нее)

А п п и й

(про себя)

Дай помощь, Пан! . . ¹

(Убегает)

Р о м у л

(за стеною)

Умри, умри, преступник!

Р е м

(там же)

Я брат твой, брат!

Р о м у л

(там же)

Не знаю брата, знаю

Закон один.

¹ <Зачеркнуто: Ступай, глупец, хоть оба перережьтесь. Тем лучше мне. — М. А.>

Р е м
(там же)
Узнай же меч его!
Звук мечей и паденье человека.

Явление шестое
Г о с т и л и й и Р о м у л.

Г о с т и л и й
(прибегая на шум)
Что это? стук мечей? .. там за стеной! ..
Где Ромул? ..
(Подбегая к воротам)

Ромул!

Р о м у л
(выходя из ворот и закрыв лицо руками)
Кто зовет меня?

Г о с т и л и й
Что случилось? — ты бледен? весь в крови? ..

Р о м у л
Да, кровь лилась.

Г о с т и л и й
Кто ж пал?

Р о м у л
Мой брат.

Г о с т и л и й
(с ужасом)

Тобой

Убит!

Р о м у л
Поди, скажи отцу и всем,
Что наш закон записан кровью брата.

Г о с т и л и й
О ужас! что ты сделал? .. Боги!



С. П. Щеглов (1850-е годы)

Р о м у л

Я

Свершил закон, полсердца вырвав с кровью.

Г о с т и л и й в отчаянии уходит. Р о м у л опускается на камень
в изнеможении и закрывает лицо руками.

Явление седьмое

Р о м у л и А п п и й с Ремовой шайкой. Вскоре сходится
и Ромулова.

А п п и й
(вперед)

Вы слышали, друзья? — Мечи стучали
Там за стеной. . . Кто это? Ромул. . . Кровь!

(Бежит к воротам и, заглянув, возвращается)

О ужас! друзья! . . Рем убит — и Ромул
В крови!

Все ужасаются.

Р о м у л
(опомнившись и вставши)

В крови! . . Так, друзья, я убил
Своей рукой преступника, но брата!
Закон гремел в моих ушах, когда я
Десницу поднял на него. . . Теперь
Закон умолк, — и я — братоубийца!
Вам предаю себя на суд. . . Вы сами
На изверга любую казнь пошлите, —
И я склоню покорную главу.

(Становится у стены, сложив руки и опустив голову)

А п п и й

Чудовище! тебя я понимаю.
О кроткой волк! тебя насквозь я вижу!
Ты думаешь смирением овцы,
Притворными, змеиными словами
В нас жалость возбудить. . . Но кто тебе,
Обрызганному кровью брата, — кто
Тебе поверит? Изверг, изверг тот,
Кто извергу хоть мало сострадает! . .
Не сам ли ты, здесь, словом лицемерным,

Нам говорил: «О други! ночь святую
Почтите вы согласной тишиной,
Чтоб в первый раз, слетевши с ваших стен,
Не принесла она к богам хитона,
Омытого в крови убитых братьев!»
И что ж теперь? — Какой хитон она
К богам снесет завтра? Весь кровавый.
Чья кровь на нем? — Кровь брата. — Чьей рукой
Убитого? — Твоей, твоею, изверг!

Ф а б и й

О страшное, неслыханное дело!
Ужель нет помощи?

А п п и й

(идуци к воротам)

Какая помощь!

Кровь истекла — и вопиет о мщенье!
О бедный, злополучный, кроткой Рем!

(Показывая за стену)

Смотрите, как лежит он тих, невинен!
О боги! где, где ваше правосудье?
Вы агнцу волка дали в близнеца:
Что ж он его не задушил в утробе
У матери? Никто бы не увидел
Там ужаса... Теперь же целый мир
Увидит эту кровь и эти раны!
Подумаешь, не брат, а враг, злодей,
Разил его рукой немилосердой! . .
Как часто, беспощадно! . . Други! кто
Не возопит за мною? Изверг! изверг! . .

Вся шайка Ремова и иные из Ромуловой, взглянувши на труп,
с ужасом отбегают и кричат вместе с Аппием: «Изверг!»

А п п и й

*(выбегая на сцену и ставши против безмолвного и склоненного
у стены Ромула)*

Взгляните: на челе братоубийцы
Кровавое пятно. . . То брата кровь. . .
Она тягчит и жжет его главу. . .
От бремени, от жаркого стыда
Ее к земле он клонит . . Больно, стыдно

Ему на свет взглянуть. . . Избавьте, други,
Его от мук. . . Из жалости к нему же,
Из сострадания, схватите камни:
Сотрем с лица земли братоубийцу!
Сотрем с него кровавое пятно!

Явление восьмое

А п п и й и многие хватают камни и замахиваются на Ромула, стоящего недвижно у стены; другие же, и в числе их П р о к л Ю л и й, закрывают лицо руками и отвращаются. В это время входит Ф а у с т у л, в одежде жреца, в пурпуровой тоге, которую принесла ему Кармента, и в золотом венце, с чашей возлияния в руке; за ним Г о с т и л и й несет горящий жертвенник, и много народа с светильниками.

Ф а у с т у л

(вслонив собою Ромула против замахнувшихся)

Бей сквозь меня, дерзающий из вас!

Все, опустив руки и смирившись, расступаются и открывают Фауста, который выходит к ним на авансцену. А п п и й выражает досаду.

Ф а у с т у л

Что с вами? — Без суда и без закона,
Вы, в первый раз, насильственные руки
Осмелились поднять — и где же? — в граде,
Который на законе и стоит.
Где ж разум ваш? где ваше правосудье?
Ужели их покинули вы в кущах,
А в град одно насилие принесли?
Когда бы я средь вас не зрел иных,
Насилие отвергнувших по сердцу,
Я б вам сказал: вы града недостойны, —
И в пастухах вы худшие: подите ж
Из града вон, назад подите, в кущи! . .
Когда у вас свершалось преступленье,
Как вы судили? Миром. — Бирючи
Сывали сходку, — и сходился каждый
Владелец кущи или стада. Все,
Пред алтарем, клялись богам судить
По совести, по чести, по закону;
Потом, чредой, был выслушан судимый,
И обвинитель, и защитник дела,
И голоса решали приговор.

Оправданному было торжество;
Приговоренному позор и казнь,
За казнию свершалось очищение.
Так в куцах поступали вы, а в граде,
Где всё закон, казните без суда?

А п п и й

Ты прав, отец: так поступали мы,
Когда в стадах судили преступленья
Бывалые, но это преступленье
Неслыханно: на брате брата кровь!
На нем вина, на нем и приговор! —
Все обвиняют, все казнят — и кто же,
Кто будет защищать его?

Ф а у с т у л

Я буду;

Ты обвиняй.

(Всем прочим)

Вы изрекайте суд.

А п п и й и его шайка изумляются. Засим по порядку делается
все то, что говорит Фаустул.

Подите двое к трупу Рема: раны
Его омыв, так до утра стрегите.

Уходят двое.

Немедля соберем же Мир. Квинтилий, Сильвий,
Возьмите посохи. Вы все ли здесь?

В с е

Все! все!

Ф а у с т у л

Поставьте жертвенник в середине:

Да за судом свершится очищение.

Вы, судии, займите полукруг,

Чтоб дело вам открытое предстало.

Я — середи, напротив — обвинитель.

В продолжение сей речи подвигают скамьи, камни и так располагаются, что судии образуют овальный полукруг, по обоим концам коего к авансцене становятся бирючи; но полукруг в середине разывается так, что ворота и Р о м у л, стоящий по левую сторону оных,

видны. В середине полукруга, против самых ворот, которые открыты, ставят жертвенник с горящим огнем и чашу возлияния; по правую сторону жертвенника Фаустул садится на скамью, по левую Аппий. Шайка Рема расположена по сторону Аппия; шайка Ромула по правой. Много народа по бокам с светильниками и просто. Шум и говор. Все сели.

Фаустул

Глашатаи! подайте строгой знак,
Да все умолкнет и лишь внемлет делу.

Бирючи поднимают посохи. Говор утихает. Минутное молчание, дающее время зрителям осмотреть картину.

Фаустул

Клянитесь же, призванные на суд,
В злодействе обвиненного — судить
По совести, по чести, по закону:
Любовь и месть да замолчат в сердцах
И да гремят в них лишь закон и правда!
Во знаменье прострите же десницы
К сему огню, который да пожрет вас,
Коль вы своей не соблюдете клятвы.

Все встают.

Фаустул

*(простирая правую руку к жертвеннику, а левую к богам.
За ним все то же делают)*

О Юпитер, сидящий во громах!
Пошли сюда твой разум и совет,
Да судит Мир твоей достойно правды!

Все садятся.

Глашатаи! да явится судимый
Пред жертвенник и пред лицо судей!

Два бирюча обходят сзади полукруг суда и приводят Ромула перед самый жертвенник так, что судимый виден в середине. Ромул подходит с поникшею головою.

Фаустул

(не глядя на него)

Под клятвою поведай, обвиненный,
Твоим судьям, как совершил убийство,
И оправданье в оном принеси.

Р о м у л

(подняв голову и простирая руку к жертвеннику)

Не оправданье я скажу, но дело:
Мы с братом до ночи метали жребий:
Кому на страже быть? Досталось мне.
Рав стены обошѣд, иду к вратам
И вижу: человек перескочил
За них. Кричу: «Умри, преступник!» — Брат
Мне отвечал; но глас закона громче
Взгремел в душе, чем брат . Я поднял меч...
Он вынул свой... сразились мы... он пал...

Ф а у с т у л

Единый ли закон гремел в тебе,
Когда ты поднял меч?

Р о м у л

(так же)

Единый.

(Опускает руку и голову)

Ф а у с т у л

Судьи!

Его речам вы емлете ли веру?

Г о с т и л и й

(вставши)

Свидетель я, что дело было так.
Пришед сюда на стук мечей, я слышал
Их бой и Ремово паденье.

Все знаком дают знать, что верят.

Ф а у с т у л

Аппий!

Твоя чреда: ты обвиняй теперь.

А п п и й

(вставши)

Что обвинять? Вы обвиняйте сами!
Не всякой ли из вас здесь брат и сын?
Не всякой ли здесь любит кровь родную?
Не все ли вы любовь свою
В нем проклинаете братоубийцу?

Кто агнца бьет невинного — не в честь
Богам, не на трапезу, — тот злодей!
Кто льет чужого кровь, — убийца тот!
Но как назвать того, кто брата кровь,
Кровь близнеца, в одной утробе с ним
Приявшего дыханье, в колыбели
Одной вскормленного, в той же куще
Воспитанного, проливает сам, —
И не дрожит злодейскою рукою? ..
Гремел закон? .. Убей себя, но брата
Не убивай, — и как руке подняться?
Что далее обвинять? Напрасны речи!

(Указывая на Ромула)

Чья это кровь? Взгляните, коль есть сила.
Рыдайте, ужасайтесь и казните!

Многие тронуты и ужасены.

Ф а у с т у л

О! коль рыдать кому, то мне рыдать
Приличней всех: они мне были дети.

(Указывая на Ромула)

Еще приличнее рыдать ему:
Рыдает он, рыдает вас сильнее
Внутри души... Но не до слез теперь!
Я заглушил любовь отца в себе;
Я позабыл, что жертва и убийца
Воскормлены в объятиях моих.
Так вас прошу: забудьте, что вы дети,
Что братья вы, — и помните одно:
Вы граждане — и ваш отец — закон!
Так жалость сердца укротив в себе,
В разумной памяти переберите
Обычай отцов, которым в куцах
Всем счастьем обязаны вы были.
Всё в общину! всё в кущу бога Пана!
Вот слово предков ваших! вот завет
Их мудрости — и всех начало благ!
Когда вам меч или плуг несли дары,
Или стада на племя чад рождали, —
Кому вы первые дары меча,
Полей и стад, кому вы приносили?

Всё в общину! всё в кущу бога Пана,
Где в общей клетке общие стада
Хранились вам на вековое племя!

Кто часть добычи укрывал из вас,
В корысть себе иль чадам иль супруге,—
Не падал ли под тяжкою пращей?

Крушила ль буря иль землетрясенье
Святую кущу Пана,— не своей ли
Вы кровлею его снабжали кровлю?

Вторгался ли губительный пожар,
Забыв свои стада, не кущу ль Пана
Спасали вы? И после не она ль
Утраты вам сторицей возвращала?
Не из нее ль стада вам возрождались,—
И вечный тук, и вечное млеко
Не из нее ль текли?—

Кто в час урочный
Своих клеток не запирает,— казнен
Был смертию: за то ль, что презирал
Свое добро? нет, но за то, что, сонный,
Губил он все стада и кущу Пана.
Когда пастух, корыстью ослепленный,
В затворе чумную овцу таил,—
Не обносили ли брата брат, хоть ведал,
Что смерть тому и всем его стадам?
Так, общиной связуясь, держа
Закон отцов и мудрый их обычай,
Среди полей ограждены вы были
От волка, хищника, огня, чумы.
Теперь вы град построили: на чем же?
На камнях ли? — Но камни сила свалит.
На чем же строили вы? — На законе.—
И сами ж вы позвольте, теперь,
Шагать за стены и валить закон,
Связующий и град и вас самих,
Как буйный вол безумно валит клеть,
Которая от волка ограждает?—
Так рухнет град — и разбредетесь вы,
Как овцы по полю без пастуха,—
И злой сосед, дорувив стены ваши
И сев на них, над вами ж посмеется...
Нет, граждане! — Уразумейте сердцем
И разумом: закон есть корень древа,

Которое вы посадили здесь, —
И если вы допустите червя
Точить его, еще не вросший в землю,
Еще как трость шатающийся в ней, —
То дереву не возрасти, а сгнить!
Нет, помните: чтоб цел и здоров был корень.
Тогда лишь древо, утвердив стопы,
Широкое листом и станом крепко,
Вас отенит и поздних внуков ваших,
И пастыри иные придут к вам,
И приютит оно их со стадами,
И возрастет высоко и высоко,
И до него стрела не долетит,
И на вершине горней и тенистой
Юпитер, сам, свои положит громы!
Но помните: чтоб цел и здоров был корень.
Крепите же его, тучните почву;
Долой корысть: всё граду! всё закону!
Ему и меч, ему добро и ниву,
И стадо, и детей, и жен, и братьев,
И кровь свою: всё граду! всё закону!
Тогда лишь меч окрепнет, нива взыдет
Богатая, добро не оскудеет,
И стадо расплодится: братья, жены
И чада, и отцы, и сами вы,
Ограждены, всесильны, всем богаты,
Мир вкусите и счастьем процветете, —
И полная река обильных благ
От корня мощного на вас польется,
На вас, его своей вскормивших кровью.

Молчание.

Я вижу, граждане! — сошел на вас
Юпитеров совет премудрый: блещет
Он в сих очах: так сими-то очами,
Спокойными, разумными, теперь
Взгляните на преступника, пред вами
Стоящего, — и в нем предстанет вам
Не изверг, кровью брата обгаренный,
А исполнитель, верный страж закона.
Но это мало: памятью бесстрашной
Припомните его любовь ко брату,
Припомните день Ремова плененья.

Как он рвался, молил пустить за брата
У этих ног, как, глядя на него,
Вы плакали, как вопль его и глас
Из каменных очей пробили б слезы,
Припомните любовь его. . . Теперь
Вы помните и то, что братья вы,—
И так — в его прозрите душу: сам он
Ее не вскрыет вам, но верьте мне:
Его в себе я чую: это сердце
В куски растерзано, обито кровью,
Сия рука, свершившая закон
На близнеце, еще не отдрожала!..
Какая ж, граждане, потребна сила,
Какой закона гром, чтоб заглушить
Вопль кровного, в одной руке сжать сердце
И вознести на близнеца другую?..
Почуйте то — вы, граждане и братья,
И восклицайте: прав братоубийца!

П о ч т и в с е

(невольню)

Он прав.

А п п и й

Отец! ты силой мудрых слов
Не убедишь невольню к оправданью.
Но выслушай: пока сомненья пятна
Все не сотрешь,— не замолчу.— Ты прав!
Так, он любил в нем брата-пастуха;
Уверь же нас, что, ухватясь за посох,
Противники все были те же братья:
Два дружных пса за добычу грызутся,
Птенцы того ж гнезда за червяка
Клюются же.— Кто скажет, что любовь
Не залита была волной раздора?
Поутру спор, а в ночь братоубийство:
Как черный вран, во мне всё вьется мысль.
Что рад соперник был проступку брата.

Ф а у с т у л

Итак он брата не взлюбил за город,
Хоть стены строить сам его призвал?
Что́ боле двадцати лет в душе
Питал к нему, то истребило в нем

Желанье посоха? — Узнайте ж, судьи!
Он сам вчера, пришед ко мне, сказал:
Чтоб кровь не лить, я уступил бы брату.

Г о с т и л и й

Я слышал те ж слова.

В с е
(кроме Аппия)

Он прав! Он прав!

А п п и й

Где Ремов труп?.. Я привлеку его,—
И если вы, смотря на холодный труп,
Обезображенный рукою братской,
Кровавый труп, воскликнете: он прав!
Я сдамся. . Ромул будет прав.

(Бежит за ворота и встревоженный возвращается)

О боги!

Рем жив!..

Р о м у л

(как бы очнувшись, в беспамятной радости бежит к воротам)

Брат жив! брат жив! Где он? где он?

Волнение и радость во всех, кроме Аппия, который смущен, в стороне ждет конца делу. Двое вводят под-руки Р е м а, едва передвигающегося, в ворота; но, вошед в них, он опускается на землю. Р о м у л бросается к нему на колени.

Р е м
(слабо)

Я жив.. последние я собрал силы..
Пришел... сказать... невинен ты. . закон...
Преступник я... простите... руку... брат...
Отец... все... Аппий... сил нет...

(Умирает)

А п п и й

(при слове «Аппий» побледневши и задрожав, с усилием кричит и голосом своим покрывает голос умирающего Рема)

Ромул прав!

Молчание минутное. Все взоры обращены на двух братьев и Фау-стула; посему никто не видит Аппия.

Фаустул

(тронутый, сняв с себя белую тогу, накрывает труп Рема, над которым склонился горестный Ромул)

О дети! я опять отец... но слезы!

В глубь сердца каньте... не до вас теперь!..

Подъемлет Ромула от трупa и, взявши его левою рукою, подводит к жертвеннику. Аппий подходит к Ромулу.

Аппий

(Ромулу)

Я долг свершил: ты гневен?

Ромул

(подавая ему руку)

Всё забыто!

Фаустул

Да, граждане, оправдан обвиненный:

Ему идет по праву торжество.

Он родом царь, он вам богами дан, —

И, как закона совершитель первый,

Сам утвердил избрание богов.

Так: первый гражданин да будет царь!

По имени его да наречется

Сей град.

(Простирая правую руку к жертвеннику)

Клянитесь вашему царю!

(Все клянутся)

Ромул

(вырываясь из рук Фаустула и знаком отрицая клятву)

Нет, граждане, я не приемлю клятвы!

Прав гражданин, но прав ли брат во мне?

Вы смоете ль остатки братской крови?

Мне ль править вами, мне ль стеречь сей град,

Когда и день и ночь тревожить будет

Кровавый брат — меня, его убийцу?..

Мир нужен для царя... Мне чужд он... Нет,

Уйду в леса... Зверям предамся, если

Меня на жертву не сожжете вы...

Кровь жаждет крови... слышу... боги мщенья

Мне вопиют о жертве очищения!..
Кто ж принесет ее?

Фаустул

(между тем взявши чашу, выпивает и бросает сосуд)

Спокойся: жертва

Принесена.

Ромул

(с ужасом подбегая к нему)

Что было в этой чаше?

Фаустул

Оно во мне: его отсель не вынешь.

Я жертва... ты очищен... Мир с тобой:

Так царствуй же.

Ромул

(в отчаянии обнимая его колена)

Отец! ты принял яд?

Все с знаками горести падают на колена перед ним.

Фаустул

Да, боги требовали жертвы: я

Уж ветх, темнеют очи, силы слабы,

Мне не поднять ни плуга, ни меча:

Что ж в жизни мне осталось? два, три лета:

Пусть их отдам я миру твоему,

Пускай мой прах в основу ляжет граду!

Ромул

А разум твой? Совет? Отец! отец!

Ты ль покидаешь нас?

Все

(с воплем отчаяния)

Ты ль нас похлпнешь?

Фаустул

(твердо)

Восстаньте, дети: не до плача время.

Последние мгновения — теперь!

Примите же свои места: мой разум
Всё будет с вами, но внимайте, помня,
Что умирающий глаголет вам.

Все попрежнему садятся. Ромул все у ног Фаустула. Между тем мало-помалу рассвело. Факелы, освещавшие сцену, потушены. Лучи восходящего солнца румянят стены.

Фаустул
(оглянувшись)

Уже восходит царь светил: да с ним же
Взойдет и граду царь.

(Ромулу)

Богов избранник!

По гласу их, ты наречен царем.
Я ж, пастырь-жрец и сторож кущи Пана,
Тебе свои права передаю.
Царь — будь и первый жрец и сторож града:
По образу Этрурии царей,
Восприими ж сию ты багряницу
На рамена: носи одежду солнца,
Храня под ней его же теплоту!
Украшь главу сим жертвенным венцом
И за народ с богами говори:
Сии дары от матери твоей
Я получил — и их тебе вручаю.

В продолжение сих слов Фаустул снимает с себя багряницу и золотой венец и возлагает первую на рамена, второй на главу Ромула, — и свершив сие, подымлет его и с восторгом на него смотрит.

Восстань, о царь! Как солнце, ты прекрасен.

(Вручая ему свой пастырский посох)

Вот посох мой... Им, неусыпный пастырь,
Я стадо пас: ты им паси народ,
Стреги его от бед, взыскуй добро
И зло казни, но внимли слову, помня,
Что умирающий тебе глаголет.

Три молнии громодержавный царь,
Отец богов, на казнь в деснице держит:
Он первую остерегает тварь
И сам ее, по грозной воле, вержет:

Она легко слетает с облаков.

Вторая жжет — и злой бедою блещет, —

И лишь совет двенадцати богов
Привавши, он ее на землю мечет.
Но третьею карает, раздражён,
И что сожжет, то к жизни не возводит:
Когда ж ее замыслит вергнуть он,
Сам в облако таинственно уходит;
Зовёт к себе избраннейших богов,
Спокойно гнев их мудрости вверяет,
И так решив, из мрачных облаков
На мир ее рушительно бросает.
Так действуй ты, царю громов подобясь:
Суди лишь Миром; Миром зло казни.

(Указывая на сидящих мужей)

Се Мир перед тобой — совет избранный,
Старейшины — сограждане твои!
Да будет Мир незыблем, неприменен!
Свой разум правь по разуму его.
О царь и Мир! Сей град — хранение ваше.
Над вами он: днесь сопрягитесь клятвой
Друг другу и Ему, перед богами.

В с е, кроме Фаустула и Ромула, простирают руки к жертвеннику.

И помните, что эту клятву я
Вручу богам подземным, брату Рему!
Когда ее нарушит кто друг другу:
Царю ли Мир иль Миру царь, — тогда
Уж клятвы нет: Закон казни рушенье.
Когда ж ее нарушите вы граду,
То горе вам: две мстительные тени,
На жертву граду принесенны здесь,
И Рем и я, воздвигнемся на вас,
Подыдем бури, молнии посыплем,
Под градом вашим восколеблем землю,
Сожжем добро и нивы потребим,
Дохнем чумою на стада, на вас! : :
Но если вы не измените ей,
Хранительно мы будем привитать
У очагов — и град крепить в основе.

Да с вашей жизнью сопряжется клятва!
Посеял я: богами спеет жатва.

(Сказав эти слова с усилием последнего вдохновения, он слабеет и тихо произносит следующее)

Труд кончен мой. . . ваш настает. . . я слабну. . .
Смерть. . . разрешает члены . . . поддержите,
И на меня все устремите взор. . .

(Твердо)

Учитесь жить и умирать во благо.

Яд начинает действовать; он ослабевает и опускается на руки
Ромула и вокруг стоящих. Все, тронутые, на него устремили взоры.

Занавес падает.

РУССКИЙ СОЛОВЕЙ В РИМЕ

(в альбом А. М. В[олконск]ой)

«Лавры, тополи густые!
Кто теперь у наших вод
Песни новые, живые
Гармонически поет?
Как полны любовной муки,
Отзываются в струях:
То неведомые звуки
На полуденных берегах!

Часто я, забывшись в беге,
В море волн не тороплю
И, покоясь в звучной неге,
Их дослушивать люблю.
Много песен, голосистый,
Распевает мой народ:
Сей же песни звонкой, чистой
Не слышать у наших вод».

Лавры, тополи, густыми
Сеньми к Тибру наклонясь,
Шепчут листьями живыми,
В струи желтые глядясь:
«Древний праотцев поитель!
С хладных, северных степей
В изумрудную обитель
К нам принесся соловей.

Заунывный, тихий, нежный,
Чувством звук его дрожит;

Голос, правильно небрежный,
Чистым золотом звенит.
В песне русской, в песне томной
Выливает душу он,
Душу, любящую скромно,
Душу нежных русских жен!»

Тибр и шумная дубрава
Сочетали дружный глас:
«Соловей российский, слава!
Пой нам песни, радуй нас
На наречьи свежем, новом;
Счастье будь твой римский друг
И тебе приветным словом
Отвечай на каждый звук».

[1830]

* * *

Не в славу нам, не к чести невских жен
На древний Тибр ты гордо притекаешь:
Там, где веков гремит бессмертный звон,
Вчерашний титул уместно ль выставляешь?
Хотя б красой блеснула в сих стенах,
Но не горишь, как северная роза:
Лишь след больной лапландского мороза
Рябит краснó в застуженных щеках.
Хотя б сиял сапфир Невы зыбей
В твоих очах; но черные глазенки
Перунами полуденных очей
Потушат вмиг затибрские девчонки.
По мрамору пзящих римских зал
Средь смуглых лиц гордясь недужной краской,
Танцуешь ты малеванною маской,
Предупредив зараней карнавал.

Рим. Декабрь 27/15 1830 г.

РУССКИМ ЛИТЕРАТОРАМ

О НЕОБХОДИМОСТИ ИЗДАТЬ РУССКОЙ РИФМАРЬ

Я вам снижу Рифмарь, я сделаю услугу,
Я перекличу все созвучья языка,
Да все слова его откликнутся друг другу,

Да всякой звук найдет родного двойника!
На этом браке слов не пить вам, рифмоплеты!
Я славы разорю последний ваш запас:
Не будет новых рифм; не будет вам работы;
Стих мыслию сияй; померкни ж он у вас.
Я разрешу тогда, всегда ли будет *пламень*
В восторженных стихах у русских биться муз
О *камень* — Рифмачам сей преткновенья камень
И сих упрямых рифм расторгну ль я союз?
Но вам, слова без рифм, вам горе, эгоисты!
Ваш холостой народ, означивши клеймом,
Из царства музыки я изгоню пером:
Так будут изгнаны без чести журналисты,
Которым отзвука в российском сердце нет,
Которых злой язык российской правде вред,
Из царства мыслию зардевшегося Слова,
Душою русскою звучащего, святова.

[Февраль 1831]

КОШМАР

Я Автор: Автора! — вы исповедь внимлите.
Не чорт меня давил, кошмар меня терзал:
Я расскажу его, но, вявши, не дрожите,
Как целых три часа, проснувшись, я дрожал.
Мне снилось, будто бы я тиснул объявление
Великолепное и в оном обещал
В двенадцати томах в свет выдать сочиненье,
О коем никогда не думал, не гадал.
Все подписались: я деньги будто прожил.
Притек законный срок, притек народ, как вал...
О лучше б гром меня небесный уничтожил!..
Взгремели: выдавай! а я пера не брал...
Вдруг слышу: правый смех подъяли журналисты,
Вдруг вижу: пальцами сидельцы на меня
Указывали все, злодейски съединя
В единый глас и смех, и шиканье, и свисты...
Но тут проснулся я... О рыцари пера!
Знаменательный мой сон вам будь в науку,
Чтоб никому из вас, о братья-Автора,
Не привелось сказать: *ах!* сон его мне в руку!

[Февраль 1831]

КАМЕНЬ ДАНТА

(В АЛЬБОМ В. Д. П.)

На площади столичной незамечен
Ничтожный камень в прахе возлежал:
Его прохожий, хладен и беспечен,
Презрительной стопою попирал.
Но камень тот Певец отдохновеньем
От горних мук навеки освятил:
И странник днесь идет к нему с почтеньем,
И юноша не раз главу склонил,
И дрожь берет надменного Педанта,
Когда на нем читает: *Камень Данта!*

В красавицах полуденных краев
Одна цвела красою незаметной,
Пока на ней Орла земных певцов
Не опочил случайно взор приветный; —
Он к ней на грудь с своих небес летал,
От горнего полета утомленный, —
И луч певца над нею воссиял, —
И юноша, лучом тем ослепленный,
В ней полюбил не цвет, не красоту,
Но грешную Байронову мечту.

Рим. Апреля 7 [1831]

СОНЕТ

(ИТАЛИАНСКИМ РАЗМЕРОМ)

Люблю, люблю, когда в тени густой
Чета младая предо мной мелькает,
И руку верную с верной рукой,
Кольцо в кольцо, любовно соплетает.

Стремлюся к ним я сиркою душой,
Но их душа чужое отвергает,
И взор, увлажненный горькой слезой,
Благословляя, в сень их провожает.

Стою один — и в сердце жмет тоска,
И по руке хлад пробегает скорый:
Чья обовьется вокруг нее рука?

Где опочиют ищущие взоры?
И долго ли мне жить без двойника:
Как винограду падать без опоры?

[21 апреля 1831]

ЖУРНАЛИСТУ

Певец любви, уныния и неги
Пришлет к тебе лежалый пук Элегий, —
И ты его скорей в журнал пихать
Торопиться, чтоб от потомства спрятать:
Да как ему не скучно их писать
И как тебе не скучно их печатать?

[Апрель — июль 1831]

СЕДЬМАЯ ПЕСНЯ

«ОСВОБОЖДЕННОГО ИЕРУСАЛИМА» ТОРКВАТТО ТАССО

Отрывки предлагаемого перевода были помещены в одном московском журнале, хотя переводчик не желал, чтобы опыт его явился перед публикою в виде отрывков; он хотел подчинить ее суждению полную песню Тасса. Но переводчик в то время отсутствовал, а отсутствующие всегда виноваты, по известной пословице.

Этот опыт был исполнением той теории русской октавы, которую изложил я в особом рассуждении. Едва ли какой-нибудь опыт в поэтическом мире получает успех, когда он является при своей теории. Но кроме того, этот опыт, перекроенный в отрывки экономическим расчетом журнала, имел может быть несчастье явиться в эпоху гармонической монотонии, которая раздавалась тогда в мире нашей поэзии и еще наполняла все уши, начиная надоедать понемногу. Эти октавы, где нарушались все условные правила нашей просодии, где объявлялся совершенный развод мужеским и женским рифмам, где хорей впутывался в ямб, где две гласные принимались за один слог, — эти октавы, пугающие всею резкостью нововведений, могли ли быть кстати в то время, когда слух наш лелеяла какая-то нега однообразных звуков, когда

мысль спокойно дремала под эту мелодию и язык превращал слова в одни звуки?..

Теперь иное время. Давно мы не слышим бывалых стихов. Если и слышим, то изредка. Читаем все прозу и прозу. Может быть, это безмолвие, господствующее в мире нашей поэзии, эта чудная тишина, эта пустыня пророчит какой-нибудь переворот в нашем стихотворном языке, в формах нашей просодии. Благодаря этой тишине, слух отвыкнет от прежней монотонии; нервы его окрепнут, вылетят от расслабления, — и он будет способен выносить звуки и сильнее и тверже. Теперь едва ли не совершается у нас это время перехода, озаменованное бездействием почти всех наших поэтов, которые, в последнее время, водя слегка привычными пальцами по струнам, дремали, дремали, и теперь заснули на своих лирах и спят — до нового пробуждения!

Вот почему я осмелился выбрать такую минуту сонного царства в нашей поэзии для того, чтобы представить читателям труд мой вполне, как желал и прежде; может быть, меня скорее выслушают теперь, на досуге от однозвучных стихов. Я сам знаю недостатки моей копии. Стихи мои слишком резки, часто жестки и даже грубы. Но этому есть причины. Первая та, что резкость есть неизбежная черта всякого нововведения в языке. Усилие должно быть резко — даже до грубости, а без усилия не возможно ничто новое — даже творческое, не только переводное, где вдохновение всегда уступает половину места труду.

Вторая причина состояла в том, что я утомлен и раздражен был изнеженностью отечественного стиха и хотел этому противодействовать, сколько слабые силы мне позволяли, и может быть, впал в крайность. С последними звуками нашей монотонной музыки в ушах, я уехал в Италию... Долго не слышал русских стихов, которые памятли мне были только своим однозвучием... Вслушивался в сильную гармонию Данта и Тасса... Обратился к нашим первым мастерам — нашел в них силу... устыдился изнеженности, слабости и скудости нашего современного языка русского... Все свои чувства и мысли об этом я выразил тогда в моем Послании к А. С. Пушкину, как представителю нашей поэзии.

Я предчувствовал необходимость переворота в нашем стихотворном языке; мне думалось, что сильные, огром-

ные произведения музы не могут у нас явиться в таких тесных, скудных формах языка; что нам нужен больший простор для новых подвигов. Без этого переворота ни создать свое великое, ни переводить творения чужие мне казалось и кажется до сих пор невозможным. Но я догадывался также, что для такого переворота надо всем замолчать на несколько времени, надо отучить слух публики от дурной привычки. . . Так теперь и делается. Поэты молчат. Первая половина моего предчувствия сбылась: авось сбудется и вторая.

От нового поколения должно ожидать такого переворота. Оно более изучает языки иностранные. В нем, может быть, таятся сильные переводчики высоких произведений поэзии европейской. В этой надежде печатаю труд мой. Может быть, он заронит мысль. Может быть, откликнется мне новый талант. Мысль редко остается без ответа, а я действовал от мысли

Что касается до близости моей копии, я могу за нее поручиться. Совестьливость в переводе необходима. Особенно трудно было мне передавать сражения Тасса со всеми тонкими подробностями описания. Я переносил их прежде в свое воображение — и через него в русские слова. У Тасса все очевидно: такова кисть юга. Списывать бой Танкреда с Рамбальдом и Аргантом русскою кистью мне было большим трудом и наслаждением.

1835

I

Меж тем Эрминия между кустами
В дремучий лес конем занесена;
Рука дрожит, чуть шевеля браздами, —
И не жива, и не мертва она.
Лихой бегун безвестными путями
Все дале в лес, где чащи глубина,
Пока совсем умчался от погони,
И тщетно бы за ним скакали кони.

II

Как праздным бегом поле все измеря,
Ворочаются псы едва дыша;
Им грустно то, что след потерян зверя,
Укрывшегося в чащу камыша.

Так рыцарей стыдила их потеря:
Бегут назад — и в гневе их душа.
Она же все, к коню челом пригнувшись,
Скакала по лесу не оглянувшись.

III

Всю ночь бежит и целый день блуждает
Без помощи вождя и без совета;
Лишь плач свой видит и ему внимает,
Своей же грусти ждет на грусть ответа, —
Но той порой, как солнце отрешает
Златых коней от колесницы света, —
Вод Иордановых она достигла,
Сошла на берег — и к мураве приникла.

IV

Не ест, не пьет, — ей скорбь лишь подкрепление,
К слезам лишь жажда, нет иного пира;
Но сон, ликущий сладкое забвенье
На чад усталых горестного мира,
В ней усыпил и чувства и мученье,
Приосенив ее крылами мира.
Но все любовь отстать от ней не может
И разными мечтами сон тревожит.

V

Не прежде встала, как защебетали
Пернатые, приветствуясь с лесами,
И ручейки, кусточки зароптали,
И зашептали ветерки с цветами.
Открыла томны очи: — ей предстали
Жилища пастырей между кустами:
Глас слышался сквозь ветви и журчанье,
И бедной вновь напомнил он рыданье, —

VI

И вновь заплакала. — Но из кустов
Ее стенания звук прервал внятный:
Казалось, в нем напевы пастухов
С свирелью сочетались приятной.
Встает, идет на звуки голосов,
И видит: старец, в куще благодатной,

Из ив корзинки при стадах плетет,
А перед ним три мальчика поет.

VII

Их ужаснул неожиданный сей приход,
Как взвидели доспехи боевые;
Она приветом веру им дает.
Вскрыв очи светлые, власы златые, —
И говорит: «О! продолжай, народ
Любимый небом, подвиги святыя:
Не помешаю я мечом мятежным
Ни делу вашему, ни песням нежным».

VIII

Потом, заведши слово понемногу,
Сказала: «Старец, посреди войны,
Как ты возмог, презрев ее тревогу,
Укрыться здесь на лоне тишины?» —
«Мой сын, — он отвечал ей, — слава богу,
И стадо и семья охранены
Здесь у меня от брани: шум военной
Не досягал страны сей отдаленной.

IX

Иль благодать небес хранит от зол:
Она ли пастуха пасет и милует;
Иль потому, что не смиренный дол,
Скорей гора громами изобилует:
Так и войны безумный произвол
Одних царей главы мечом насилует;
А наш быт низкий, бедный недостоин,
Чтобы пленился им корыстный воин.

X

Кому низка, а мне святая доля!
Душа ни скиптром, ни казной не льстится;
Корысти, славы жаждающая воля
В покое груди смиренной не гнездится.
На жажду есть ручей родного поля, —
И не боюсь, что ядом отравится;
И это стадо, огород — вот тут,
На стол простой мне даром пищу шлют.

XI

Желанья малы, — мало нам и надо,
Чем жизнь питать без лишних наслаждений.
Вот сыновья мое лелеют стадо;
Рабов не нужно нам. Живем без лени,
Весь век в трудах. — Смотрю — и сердце радо —
Как прыгают козлята и олени,
Как рыбки в струйках плещутся, юлькают,
И птички крылья к небу расправляют.

XII

Ах! было время: грешный и крамольный,
Тщеславился и я, питал желанья,
И посохом пастушьим недовольный,
От верного родимого стяжанья,
Бежал к двору, в Мемфис первопрестольный,
И там искал я царского вниманья.
Хоть был простым хранителем садов,
Но зрел и вызнал клевету дворов.

XIII

И улелеянный надеждой смелой,
Все выносил — что выносимо было;
Но только наступил мой возраст спелой,
И время упованья погасило, —
О жизни прежней, я, осиротелой,
Вздыхнул, — и сердце мира запросило:
Сказав двору: прощай! — к своим лесам
Бежал бегом — и слава небесам!»

XIV

Меж тем она очей с него не сводит,
К устам его вниманием прильнула, —
И слово мудрое к ней в душу сходит,
Как благодать, и буря чувств уснула.
Потом повсюду робкой думой бродит, —
И вот — в тиши пастушьего аула,
Решается искать себе пената,
Пока судьба ей не пошлет возврата. —

XV

И старику так волю знаменует:
«Отец! и ты знал скорби бытия!

Да небо никогда не приревнует
Тебя ко счастью! — Коль душа твоя
К моим страданьям состраданье чует, —
В свое жилье возьми, возьми меня.
Авось мне небо благодать здесь окажет.
И бремя сердца, хоть на время, сляжет.

XVI

Ты злата ль хочешь, камней ли бесценных,
Что чернь так часто блеском ослепляли:
Будет с тебя моих сокровищ тленных,
Я все отдам, что мне судьбы послали». —
Потом, кропя лазурь очей смятенных
Кристалльными потоками печали,
Часть жизни вверила его вниманью, —
И сорыдал пастух ее рыданью.

XVII

Потом утешил грусть, как мог целебней,
Отечески приял ее в сень кущи,
Повел ее к своей супруге древней,
Что дал ему по сердцу всемогущий.
Простой хитон там обвил стан царевне;
И нежные власы покров гнетущий
Ей обвязал, но из ее осанки
Был виден лик не низкой поселанки.

XVIII

И рубище в ней сана не уронит,
Всё обличат ее и речь и взоры;
Величества царева не отклонит
Ни рабский труд, ни сельские уборы.
То гонит стадо, то опять пригомит
Простой лозой в овчарные затворы;
То из сосцов косматых выжимает
Струи млека и в масло претворяет.

XIX

Как часто дева, летом, в знойну пору,
Пока в тени овечка отдыхала,
Иль букову иль лавровую кору
Любезным именем обозначала, —
И всем древам, всему густому бору,

Чудесной страсти повесть поверяла: —
Потом не раз, прорезанные строки
Перечитав, слезой кропила щеки, —

XX

И говорила: «Дружеские сени!
Храните же печальное преданье:
Быть может, в ваши ласковые тени
Зайдет любовник верный на мечтанье,
И на коре начертанные пени
Пробудят в нем к несчастной состраданье,
И скажет он: такое-то участие
За верность дали вы, любовь и счастье?»

XXI

Авось и он придет, коль бог устроит
Моей любви плачевные моления
И след ему в заветный лес откроет,
Ему, в ком нет о мне и помышленья, —
И он, взглянув сюда, где успокоит
Земля мое покинутое бренье,
Авось уступит для моих поминок
Хоть поздний вздох да несколько слезинок.

XXII

Пусть жизнь была страданием одним,
Хотя б по смерти счастьем дух упился, —
И пламенем, у жизни отнятым,
Хотя бы пепел хладный насладился». —
Так говорила деревьям глухим,
И в два ручья поток из глаз катился.
Меж тем Танкред судьбой запутан был
И все, следя Эрминию, кружил.

XXIII

Он, веруя следам напечатленным,
В соседний лес помчался ей попутно,
Но, пробираясь по кустам стесненным,
Которые густели поминутно,
Уже следов он оком напряженным
Не разбирал, — и ехал дале смутно,
Лишь ухом чутким вслушиваясь вдаль:
Не звукнет ли копыто или сталь.

XXIV

Ночной ли ветер тихо зашелохнет
Листочками плъ вяза или бука;
Зверок ли, птичка ль веткою шерохнет, —
Коня стремит он на призванье звука.
Вот выехал из леса, не отдохнет,
Лишь лунный луч в пути ему порука:
Все слышит он какой-то говор там,
И мчит коня на говор по полям.

XXV

Примчал. — Зеленой, узкою дорожкой,
Из камня струйкой спльно выбиваясь,
Своею влажною и шумной ножкой
Бежал ручей, по камням пробираясь.
Тут всадник бегуна сдержал немножко,
Стал звать: лес только вторил откликаясь.
Меж тем он обнимал лучами взора,
Как всходит белордая Аврора.

XXVI

Он стонет гневный, к небу шлет укоры,
Отъявшему надежду приключенья,
И гордой деве, вспылчивый и скорый,
Обидную речет он клятву мщенья.
Потом во стан коню вонзает шпоры,
Хотя не ведает пути теченья:
Знать вспомнил он, что день ему грозитя,
Как с рыцарем Египта он сразится.

XXVII

Он едет все дорогою безвестной,
Вдруг слышит топот, чуёт он отраду.
Вот, вылетев из-за долины тесной,
Несется всадник: вестник он по взгляду;
Лихим бичом он хлещет повсеместно,
Рог за плечьми по нашему обряду, —
И подскакав, его спросил Танкред:
Где к стану христиан пайти бы след?

XXVIII

Наречие Италии звенит
Ему в ответ: «Я сам скачу ко стану».

И рад Танкред, за вестником спешит
И верует коварному обману.
Доехали до замка: он стоит
Средь озера подобно великану.
То было в час, как дня живое око
Нисходит к ночи на гнездо широко.

XXIX

И вестник в рог протяжно затрубил,
И мост накинута для их прихода:
«Коль ты Латин, — Танкреду говорил, —
Останься здесь до солнечного восхода.
Два дня тому, Козенцкий граф отбил
Сей замок у поганого народа».
Танкред на замок смотрит с удивленьем,
Как огражден природой и умением.

XXX

Он сомневается, и размышляя,
Обман какой-то в замке чудном смел:
Но смертную опасность презирая,
Не скажет вида: лик все так же светел;
Его беспечит верная десная;
Пошел бы он на зло коварных петел,
Но помнит званый бой, святое слово —
И не спешит на предприятие ново; —

XXXI

А против замка, где на злак долин,
Мост криво опускается подъемной,
На время шаг остановил: один
Поехал за мост спутник вероломной;
Вдруг, на мосту, в доспехах паладин
Явился с видом храбрости нескромной:
В его десной сверкала сталь нагая,
И так взывал он гневно, угрожая:

XXXII

«О витязь! волей ты или неволей,
Заехал в край Армиды роковой:
Отселе убежать не думай боле;
Пожертвуй ей доспехом и десной;
Переступи за этот праг, отколе

Она всем нам дает закон такой:
Не льстись услышать человеческий голос
Хоть жизнь живи, хоть поседей твой волос, —

XXXIII

Пока не дашь с полком своим присяги
Нести войну союзникам христовым». —
В душе Танкреда прибыло отваги,
Как по доспехам и речам суровым
Узнал Рамбальда он из той ватаги,
Что поддалась Армидиным оковам; —
Он для нее спасителя отрекся,
Лжеверию в защитника облекся.

XXXIV

Священный гнев зажегла в Танкреде речь,
И он вещал: «Изменник нечестивый!
Я сей Танкред, что опоясал меч
За бога и Христа — браннолюбивый;
Я именем его на поле сеч
Казню отступников, как ты, кичливый!
И видно он теперь сию десную
Послал отмстить твою измену злую».

XXXV

Смутился тот, услышав имя, славой
Гремевшее — и цвет сбежал с лица;
Но робость скрыв, вещал он: «А! двуглавой!
Ты знать сюда пришел искать конца.
Здесь мощь твоя послужит мне забавой;
Сломлю главу лихого гордеца.
То Франкским вождям будет славный дар,
Когда мечу не изменит удар».

XXXVI

Так говорил язычник. — В небесах
Всходила ночь из-под земного плена;
Мгновенно замок вспыхнул весь в огнях,
И свет их дню был яркая замена:
Так на ночных феатра торжествах
Пылает вся блистательная сцена.
А на верху Армида в нем сидела,
И, скрытая, все слышала и зрела.

XXXVII

Меж тем герой Танкред, на вызов смелой,
Срядил доспех победами прославлен;
Но видит: пеший враг идет на дело,
И мигом конь усталый им оставлен;
Шлем на главе, щит заслонил все тело;
Меч на голò — и на удар направлен.
Его сретал Рамбольд в порыве диком,
Скосивши очи и с ужасным криком.

XXXVIII

Кружит шаги широкими кругами,
Стеснив доспех, мечом махая праздно;
Меж тем Танкред, хоть утомлен путями,
Идет и напирает безотвязно, —
И всякой шаг, соперника стопами
Уступленный, приемлет неотказно, —
И все к нему теснится сгоряча,
В глаза сверкая молнией меча, —

XXXIX

И по живым местам сильнее бьет,
В них метя хитрою и злой сноровкой,
И всяк удар словами додает
Угрозными, душе на смуту робкой.
То здесь, то тут проворно ускользнет
От зоркого меча Гасконец ловкой, —
И силится он, то щитом, то шпагой,
Шутить врага безумною отвагой.

XL

Как сей ни быстр, а нападать смышлен
Быстрее Танкред — и редкой взмах просрочит.
Надсажен щит, шлем звонкий раздроблен,
Просверлен панцырь кровь живую точит;
Но сам Рамбольд, как ни ударит он,
Ни одного удара не упрочит:
Оторопел — и к сердцу гонят кровь
И гнев, и стыд, и совесть, и любовь.

XLI

Вот, наконец, отчаянный, решился
На крайний опыт. Щит свой безотрадный

Долой; двумя руками ухватился
За чистый меч, еще позорно-гладный,
И со врагом так сжался и стеснился,
И так дождал удары беспощадный,
Что с панцыря посыпались бляхи,
И левый бок ослабили размахи.

XLII

Вдруг, по челу из всех ударил сил;
Удар взгремел как колокольный звон,
Но шлема он Танкреду не разбил:
Лишь, приклонившись, зашатался он.
И гнев лицо героя воспалил;
Мгновенный пламень был в очах зажжен,
И сквозь забрало взгляды заблестели,
Как молния, — и зубы закрипели.

XLIII

Язычник вероломный оробел,
И взглядов тех он вынести не в силах;
И слышит: меч над ним уж засвистел,
И чувствует его в груди и в жилах;
Но от удара ловко отлетел
И пал удар на мостовых перилах:
Лишь искры с щепками долой летят,
А в сердце изменнику вникает хлад.

XLIV

Бежит он к мосту, и в одном бегу
Находит он последнюю помощь;
Танкред за ним, рукой хребет врагу
Почти достал и жмет ногою ногу...
Но вдруг весь свет, на роковом шагу,
Потух окрест — и тьма прешла дорогу:
Ночь сиротой оставил хор светил
И ни луча с небес скупых не лил.

XLV

В потьмах ночных и сквозь волшебный мрак
Своей победы рыцарь не кончает;
Сомнительно передвигает шаг
И щупая, потьмы лишь осязает;
Но тот неверною стопой за праг

Переступил — и сам не примечает;
Но слышит: дверь захлопнулась за ним
И ведаёт себя он запертым.

XLVI

Как рыбка там, где дремлет наше море
Болотами в заливах Комакия,
Соскучившись на бурном вод просторе,
Тех ищет мест, где воды запертые
Спят в тишине, и на свое же горе —
Сама выплывает в клетки водяные,
Затем что так устроены те блата,
Что вход отверзт, — к исходу нет возврата.

XLVII

Так, сам собой, в чудесную тюрьму,
Какая б ни была ее пружина,
Ступил Танкред, — и выдти уж ему
Пресекла путь коварная судьбина.
Ощупав дверь сквозь роковую тьму,
Напрасно бьет десница паладина, —
Но вдруг слова раздались неприветны:
«Армидин пленник! все усилья тщетны!

XLVIII

Не бойся смерти, но в гробу живых
Дни, годы изнывай и плачься вечно».
Словами пораженный воин стих,
И вздохи жмет во глубине сердечной,
Кляня в себе обман сетей чужих,
Любовь, судьбу, поступок свой беспечной,
И говорит без звуков, без речей:
«Что солнце мне? утрата для очей!

XLIX

Ах! слаще солнце и желанней мне
Утратил я душевными очами, —
И прояснятся ли когда оне,
Бог весть! — его любовными лучами!» —
Арганта вспомнил и скорбит вдвойне:
«О стыд! — речет: — меня перед полками
По праву он презрением покроет:
О вечный стыд! тебя ничто не смоет!»

I

Так душу воина, ненасытимо,
О чести, о любви забота гложет. —
Меж тем Аргант кипит неустрашимо
И пуха мягкого он мять не может;
Так ненавидит мир нестошимо,
Так жажда крови, слава дух тревожит,
Что раны в нем еще горят страданьем
А день шестой торопит он желаньем.

II

В ночь перед днем язычнику не спится;
Едва на сон чело свое склонил:
Еще покровом ночи небо тьмится,
И темя гор ни луч не осенил, —
Уж встал, спешит доспехом ополчиться,
Что щитоносец рано снарядил:
То не доспех его обыкновенный,
Но от царя был дар ему бесценный.

III

Едва взглянув, он члены облекает
В оружие, не тяжкое на нем,
И от бедра обычный меч спускает,
Что закален старинным ковачем.
Как, в небе огненном, звезда пылает
Кровавыми власами и хвостом,
К бедам людей, к воинственному пиру:
Враждебный свет испуганному миру!

IV

Так он горит в оружьи, — вкривь и вкось
Вращая гневом опьянелы очи:
Отчаянье в движениях разлилось,
Палят с лица угрозы смертной ночи, —
И взгляды снести, сверкающие врознь,
В душе холодной не достало б мочи:
Меч обнажил, подъемлет и трясет,
И с воплем в воздух и во мраки бьет.

V

«Сей час, — речет, — разбойник-христианин,
Дерзающий со мной в бою равняться,

Падет на дол, окровавлен, изранен;
Власы его во прахе осквернятся:
Увидит он, еще не бездыханен.
Как сей рукой доспехи отрешатся, —
И смертью не вымолит того,
Чтоб в жертву псам не предал я его».

LV

Так вол, когда его иглой щекочет
Язвительной ревнивая любовь,
Ревет всеужасно — и в нем клокочет
Разгоряченная от гнева кровь;
О пни древесные он роги точит,
Копытами бьет в ветры — и песков
Взвевая вихрь сердитою ногой,
Издаleká манит врага на бой:

LVI

Так разъярен, Герольда он зовет,
И говорит отрывистое слово:
«Спеши во стан, мой возвести приход
И ратника на бой зови христов».
Не медлит, вестнику скакать вперед
Велев, сам гонит бегуна лихова,
Из града вон, и через скат холма
Быстрейшим скоком скачет без ума.

LVII

В рог протрубили — и вышел дивный звук,
На все окрестное наведший страх:
Как гром с небес рассыпавшийся вдруг,
Отгрянул трепетом в живых сердцах.
Уже вожди креста в единый круг
Сошлись в шатре, что первый во шатрах, —
И здесь герольд Танкреда вызывает,
Но и других вождей не исключает.

LVIII

Медлительные, важные кругом
Годфред обводит очи с недоуменьем:
Перебирая всех, ни на одном
Не опочил угрюмый взор с решеньем:
Цвет воинства в кругу не зрится том,

Дивным пропал Танкред исчезновеньем,
Далеко Боэмунд — и в ссылке был
Отважный витязь, что Гернанда убил.

LIX

Кроме десятерых, что так достались
По жребью, славнейшие во стане,
Обманчивой Армиде вслед помчались,
Укрывшись от глаз в ночном тумане.
Одни слабейшие в рядах остались,
Безмолвно уклоняются от брани:
Некто в опасности венца не жаждет,
И слабый стыд от робости в них страждет.

LX

Лик воинов, безмолвен, неподвижен,
Вождю-главе свой страх изобличил;
Их малодушной робостью обижен,
Во гневе он с седалища вскочил
И рек: «Умру, не буду так унижен,
Чтоб жизни я на меч не положил
И дерзкому язычнику б позволил,
Чтоб нашего народа честь злословил.

LXI

Хочу, чтоб стан мой, праздный, издалика
Опасности воядя беспечно зрел:
Доспех! доспех!..» И в мановенье ока
Уже доспех в руках его горел.
Но Раимонд, что сочетал глубоко
С летами зрелыми и опыт зрел,
А силой зелен был как мужи боя,
Стоявши тут, вдруг выступил из строя, —

LXII

И так вещал Годфреду: «Не бывать,
Чтобы весь стан главой был выдан бою:
Ты вождь, — не ратник: коль падешь, рыдать
Мы станем всем народом, не семьею;
А без тебя, кому же крест держать?
Кем Вавилону пасть, коль не тобою?
Нет, разумом да скиптром только правь,
А в смелый меч играть ты нам оставь.

LXIII

Но хоть меня уж время осудило
Ходить скрутясь, меча не отрекуся.
Пускай других презорство устршило:
Я ж древностию лет не извинюся.
О! если б не лета да прежняя сила,
Как в вас теперь, что кроется, труся
Язычника — и вам то не обидно,
Что дерзкий вас ругает так бесстыдно;

LXIV

Будь я, как был, когда перед лицом
Германии я, при втором Конраде,
Грудь Леопольда пронзил мечом
И замертво поверг его в ограде!
И больше славы взял я в деле том,
Прияв доспех единого в награде,
Чем если б кто единый, безоружный,
Прогнал весь рой сей челяди ненужной:

LXV

Будь та же кровь во мне и сила та,
Уж пошутил бы я его отвагу:
Но духа не ослабили лета,
И ветхий я, без страха возьму шпагу.
Врагу победа не взойдет чиста,
Хоть в поле я и бездыханен лягу:
Хочу в доспех, — да день сей наконец
Положит подвигам моим венец».

LXVI

Так старец рек: его слова явили,
Как иглы острые: дух ожил в миг, —
И тем, что прежде робки, немь были,
Он развязал хвастливый их язык:
Не только вызова не отстранили,
Но благородный спор у них возник,
И просятся два Гвида и Рогер,
Гвельф, Балдуин, Розмонд и Герипер.

LXVII

И Пирр, что славный совершил обман,
Боэмонта подарив Антиохней:

Эврард, Родольф и набожный Стефан
В бой тянутся нетерпеливой выей:
Три сына трех разноплеменных стран,
Отрезанных холодною стихией;
Гильдиппа, Одоард хотят того же:
Равно супруги в брани и на ложе.

LXVIII

Но гордое желание пылало
Во старце непреклонном пуще тех:
Только шлема ему недоставало
Святящего — и был бы весь доспех. —
Годфред речет: «О яркое зеркало
Старинной доблести! пример для всех!
В тебя глядясь, народ, добру учися:
В тебе все Марсовы дары стеклися.

LXIX

О если б, несмотря на ветхи дни,
Таких мужей хоть десять в стане было!
На Вавилон повел бы я строи,
Развил бы крест от Бактры и до Тила!
Но днесь, прошу, для больших дел храни
Себя, где опыта потребна сила:
Пусть в шлем они положат имена,
И жребием прях будет решена, —

LXX

Пли судом всеведущего, кем
И жребий человеку выпадает». —
Но Раимонд не уступает тем
И с ними жребий свой вложить желает.
Годфред приемлет имена во шлем;
Перемешав, их важно потрясает,
И вынув первое на произвол,
Имя графа Тулузского прочел.

LXXI

С веселым криком всеми он прият:
Ничье роптание не раздается:
Лик и чело в нем свежестью горят:
По жилам старца младость бодро льется:
Так гордый змей, во блеске новых лат,

Пылает златом и на солнце вьется.
Но выбор всех угоднее Годфреду:
Зараней он благовестит победу.

LXXII

И с левого бедра он меч изъял,
Поднес его — и так вещал воитель:
«Вот меч: им древле гордо воевал
Преступный Франк, Саксонец-возмутитель:
Его я с жизнью у него отъял:
Он был при мне всегдашний победитель.
Прими его: да будет он с тобою
Равно счастлив, как был всегда со мною».

LXXIII

Меж тем их медлением разогрет,
Аргант кричит с угрозами: «Явитесь,
О воины, непобедимый цвет
Европы! — все ль вы одного боитесь?
Коль есть в нем дух, пускай идет Танкред,
Сей с виду гордый и суровый витязь!
Иль на пуху он ожидает лёжа,
Как ночь сойдет, одна его надежда?»

LXXIV

Страшится он? — Так пусть же строй за строем
Выходит вместе целый ваш народ,
Когда со мной единоборным боем
Никто из тысяч биться не дерзнет.
Вы зрите гроб, где мертвым спал покоем
Мариин сын: идите же вперед!
Вам путь открыт: обеты совершите!
Иль к лучшим подвигам вы меч храните?»

LXXV

Такими шутками их гордо хлещет
Суровый мечеборец как бичем:
Но пуще всех Раймонд гневом трепещет,
И весь горит, и брезгает стыдом.
Дух, подстрекаемый, сердитей блещет.
И мщенья острится лезвеем;
Решился он — и плотно Аквплину,
Лихому скакуну, сжимает спину.

LXXVI

На Таио конь родился: той страны
В воинском стаде мать его гуляла;
Когда ж пора влюбляющей весны
Вдыхать ей в сердце страсть живую стала,
Открыв уста желанья полны,
Семя ветра она воспринимала;
От теплого дыханья зачала
Всестрастная — и чудо! — родила.

LXXVII

Кто ж, Аквиллина в беге созерцая,
В нем чадо Зéфира не угадает, —
Лишь взглянет, как, ни следа не роняя,
Все поприще ногами подбирает;
Или в круги проворный бег стесняя,
Направо и налево их кидает?
Сему-то бегуну вонзивши шпоры,
Помчался граф и к небу поднял взоры:

LXXVIII

«Всёсильный! Голиафа печестивца
Низринул ты неопытной рукой;
И пал тобой Израелеубийца,
Сраженный первой отрока пращой:
Днесь соверши, да, ветхий, горделивца
Я низложу в честь веры пресвятой;
Яви на старце крепость вышних сил.
Как древле их на юноше явил».

LXXIX

Так молит он — и жаркое моленье
Надеждой, в божьей твердой, воскриляется
И возлетает в горнее селенье:
Так огонь, по естеству, горé вздымается.
Отец предвечный внимлет приношенье,
И из небесных полчищ избирается
Зачинщик ангел, да изыдет правой
Из рук печестия, увенчан славой

LXXX

Сей ангел, во хранители избранный
Благому Рапмонду провиденьем,

С того часа, как он, младенец странный,
В путь мира вышел божиим веленьем,
Сей ангел, словом сил царя воззванный,
Да облечется днесь его храненьем,
Нисшел в скалу, где божией войны
Доспехи пребывали сложены.

LXXXI

Там копье хранилось, коим змей
Был прободен, и молнийные стрелы,
Незримо язвы, тысячи смертей
Метающие на народы целы:
Там был повешен и трезубец, — сей
Первый угроз на все земли пределы,
Когда ее основы потрясаются
Обширные, — и грады расшатаются.

LXXXII

В числе доспехов щит светился рдяный,
Весь литый из яснейшего алмаза:
Он мог накрыть все племена и страны,
Лежащи меж Атланта и Кавказа;
Градам, царям служил он для охраны,
Да правых не пожрет войны зараза.
Хранитель-ангел, сей приявши щит,
Раймонда своего тайно следит.

LXXXIII

Меж тем народом запестрели стены
Ерусалима: шлет полки тиран;
Клоринда и толпы вооруженны
Среди холма расположили стан.
С той стороны, в порядке устроенны,
Расставлены отряды христиан:
И ратникам расширилась поляна
Промеж того и меж другого стана.

LXXXIV

Глядит Аргант — и видит: не Танкред
Предстал ему, но ратник с видом новым.
Граф подался и рек: «Танкреда нет:
Не может он воспользоваться зовом;
Но не гордись: воздать тебе ответ

Решительный — ты зришь меня готовым:
И примешь ли ему заменой в поле,
Или посредником — в твоей то воле».

LXXXV

Не усмехнувшись, отвечал гордец:
«Так что же делает Танкред? где скрылся?
Небу грозил мечом — и наконец
Беглым пятам он ввериться решился:
Не убежит: нашлаю ему конец,
Хотя б в земле иль в море схоронился».
Раймонд прервал: «Бежит тебя? — пустое,
Бежит, коль он тебя сильнее вдвое!»

LXXXVI

Затрепетал черкес и так гремит:
«Бери же поле: выйду на любовь:
Увидим мы, как меч твой защитит
В безумстве дерзком молвленное слово».
Подвиглись в бой — и каждый меч стремится
Губительным размахом в шлем друга.
Раймонд, как наровил, не промахнулся,
Но тот и на седле не пошатнулся.

LXXXVII

С другой страны Аргант наехал грубый,
Но, не в обычай, розбег тщетен был:
Намеченный удар дался ему бы,
Когда бы страж его не отклонил:
Рассвирепевши, закусил он губы,
Копье, ругаясь, оземь преломил,
И меч извлекши, на Раймонда скоком
Второй напор зачал в пылу жестоком.

LXXXVIII

Могучего коня теснит он прямо:
Так злой овен главу бодаясь клонит;
Раймонд, во правое подавшись рамо,
Дает ускор, врага в чело, и гонит.
Аргант за ним ворочает упрямо,
Но влево сей опять коня сторонит,
И все вотще по шлему бьет Арганта,
Затем что он был лит из адаманта.

LXXXIX

Язычник, в бой желая рукопашной,
К противнику и жметя и теснится;
Но сей, под бременем громады страшной
Боясь с конем на землю повалиться,
Уступит здесь, там двинет меч размашной,
Кружачим боем около вертится; —
И извиваяся узде покорной,
Не оступился конь его проворной.

XC

Так осаждая замо́к средь болот
Иль на горе, удары всех орудий
Пытает вождь, все приступы берет
И все пути — и тщетно бьются люди. —
Увидел Раймонд, что не сорвет
Ни чешуи с чела и с медной груди, —
В слабейшем месте силится просечь
И сквозь железо гонит жадный меч.

XCI

И две, три скважины он прорубил:
Доспех врага теплеет и краснеет;
Но свой он невредимым сохранил,
И каждое звено еще целеет;
Аргант ярится, изо всех бьет сил
И по-пустому гнев и силы сеет;
Но утомлен, двоит свои удары,
И прошибаясь мощью крепнет ярый.

XCII

Из тысячи ударов сарацина
Разит один: Раймонд так близко был,
Что быстрого уж верно б Аквиллина
Аргант конем и телом задавил,
Когда б незримо против исполина
Помощник неба сам не подступил:
Он руку протянул — и полновесный
Удар меча приял на щит небесный.

XCIII

И об алмаз меч преломился дюжий:
(Его земной чекан не устоял

Против нерушимых святых оружий
Предвечного художника); — он пал.
Черкес, роняя меч и видя уже
Его в кусках, очам не доверял, —
И руку праздную спускает он,
Доспеху вражескому изумлен.

XCIV

Кто б усомнился в невидимом страже,
Что об щит его Аргантов меч разбит?
В благом Раймонде блещет вера та же,
Хоть он не знает, кто его хранит.
Но увидав, что нет в деснице вражей
Оружия, он нерешим стоит,
Вменяючи в бесславный то успех:
При выгоде такой совлечь доспех.

XCV

«Возьми другой» — из уст его скользило,
Но в сердце вдруг мысль новая созрела:
Его паденье всех бы посрамило:
Он всенародного защитник дела.
Победа легкая ему не льстила,
Но слава воинства в груди кипела:
Колеблется, меж тем Аргант во щеку
Ему бросает рукоять жестоку, —

XCVI

И в то же время подстрекнув коня,
На бой ручной он дале устремился.
Эфес меча ударил в шлем, звеня,
И об лицо тулузца разразился;
Но не сробев и лошадь уклоня,
От мощных рук он мигом отстранился, —
И ранил длань, что на него бесщадно,
Как зверья когти, протянулась жадно.

XCVII

Потом кружит отселе и оттоле,
И вновь кружит оттоле и отселе, —
И всякой раз вскипая боле и боле,
Разит врага тяжеле и тяжеле.
Все, что есть сил в горящей гневом воле,

В искусстве опытном и в ветхом теле,
Все ко вреду Черкеса соединяет,
И счастье и небо заклиняет.

ХСVIII

Доспехом крепок, сам себе защитой,
Без страха сей противится ударам:
Так влается корабль полуразбитой,
Без мачт и без кормила в море яром;
Но, каждый бок имея плотно сшитой
Из брусьев крепких и густых не даром, —
Расселых недр еще волнам не кажет
И не отчаётся, пока не сляжет:

ХСIX

Аргант, в такой опасности ты был,
Как Вельзевул помочь тебе решился:
Из облака тень легкую сложил;
В лик человеческий призрак облачился;
Черты Клоринды он изобразил,
Ее доспехом светлым ополчился,
Принял слова, без чувства звук органа,
Движенья, поступь, строй прямого стана.

С

Но да возбудит веру сей призрак,
Вдали от той, кому уподоблялся,
К стенам торопит неприметный шаг,
Куда народ во страхе собирался.
Там стража мнит найти коварный враг
У башни, где на мли простирался
Обзор полей, — и там его он зрит,
Как в щель стены на битву он глядит.

СИ

Сей страж был Орадин — стрелок лихой, —
И тень рекла ему, коварство сея:
«Хвала — стрелец, ты меткою стрелой
Любую цель произаешь не коснея;
О горе нам, коль сей падет герой!
Защитника лишится Иудея,
И враг, прияв доспех его прекрасный,
Украсит им возврат свой безопасный.

Днесъ время показать искусство: стрелы
Смочи французской проклятою кровью,
И, кроме славы, царь за подвиг смелый
Тебя почитит и златом и любовью». —
Сказал. — Стрелец не стал оцепенелый,
Лишь только внял коварному условию.
Из тула тяжкого стрелу взымает,
На лук паладил и уж наляцает.

СIII

Свистнула тетива — и отрешившись,
Летит жужжа крылатая стрела:
Ударив там, где пряжки соцепившись,
Стянули пояс, их поразвела,
И в латы вшед, и чуть окровенившись
Раздранной кожей, дале не пошла:
Того хранитель горний не позволил
И злой удар ослабнуть приневолил.

СIV

Тулузский граф извлек стрелу из лат,
И видит: кровью засочилась рана:
Из уст его язычнику гремят
Угроза, обличение обмана.
Но вождь, на графа пригвоздивши взгляд
Неотвратимый, увидал из стана
Рушение обета, усомнился,
Что рана тяжела, и устранился:

CV

Блеснул челом и поднял вещий глас, —
И воины к отмщенью пробудились:
Наличники надвинуты как раз,
Бразды слабей и копыя изрядились, —
И многие отряды в тот же час
Отселе и оттоле соступились.
Исчезло поле: мелкий прах клубами
Взвился и закружил под небесами.

CVI

Трещат щиты и шлемы, и восходит
На первой ошибке в поле глум великой.

Там хладный конь лежит: печально бродит
Другой без седока как будто дикой;
Здесь мертвый воин, там другой исходит,
Вдыхает сей, тот стонет ранен пикой;
Ужасен бой и чем тесней и гуще,
Тем жесточает и растет он пуще.

СVII

Аргант в середине появился чудный:
Отъязши булаву, развязен, скор,
Врубился в строй густой и многолюдный
И вокруг себя очистил ею двор:
Раймонда ищет, гнев свой неоскудный
И меч безумно на него упер:
Как жадный волк, он мнит в его утробе
Насытить глад и утолиться злобе.

СVIII

Но сильные в пути ему преграды, —
Бег воином замедлен не одним:
Орман, и Гвид, Рогер, чета-Конрады
Встречаются попеременно с ним.
Неутомим, суровеет с досады,
Чем более он храбрыми тесним:
Так, мощный огонь, преградами завален,
Исходит вон, и тьмы крушит развалин.

СIX

Орман убит, Гвид ранен, опрокинут
Рогер меж трупами томясь лежит;
Но полчища растут: — щитами сдвинут,
Круг лютый воинов его теснит.
Но силен он: язычники не стынут,
И ровными весами бой стоит.
Годфред во ставку брата призывает
И двинуть стяг ему повелевает. —

СХ

И там, где бой смертями изобилен,
Наддать всей крепостью на левый рог.
Подвигся тот — и натиск так был силен,
Которым он врагов ударил в бок,

Что мнился полк их вовсе обессилен;
Напора смелого сдержать не мог:
Строй рушился без мощи и отваги,
И пали кони, витязи и стяги.

СXI

Напором тем же в бегство обращенный
Помчался правый рог: один в рядах
Аргант противится. С удил спущенный
Во весь опор пх гонит бледный страх,
А тот один лик кажет непреклонный:
Ни исполин, будь обо ста руках
И столько же вращай он в них доспехов,
Не превзойдет Аргантовых успехов.

СXII

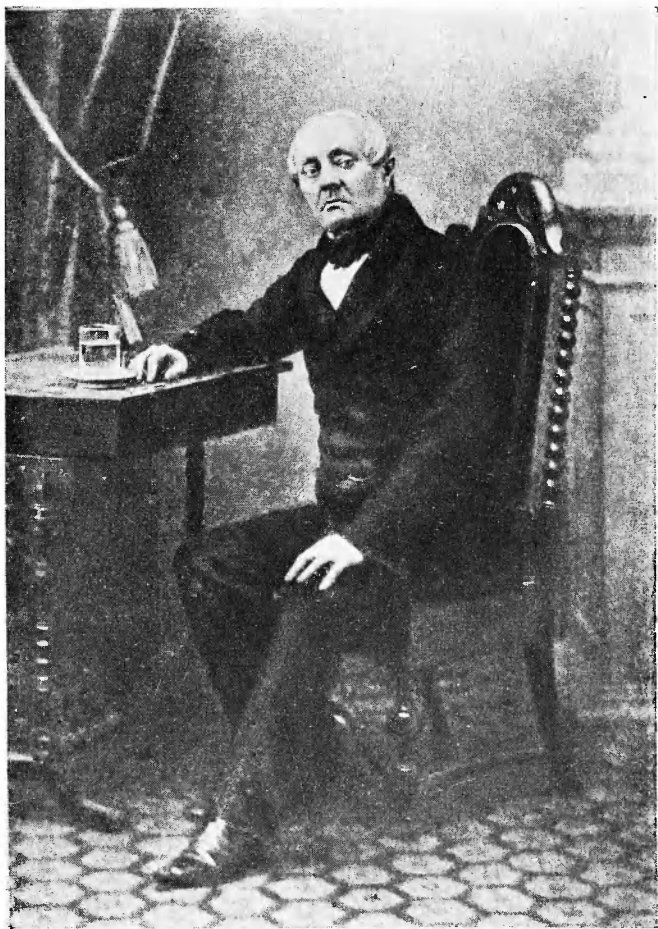
Мечам трегранным, булавам на смех,
Напор наездников единый пятит;
И достает единого на всех:
То этого, то оного он хватит;
Разбиты члены, раздроблен доспех,
И пот и кровь с бесчувственного катит:
Но так теснит и жмет народ густой,
Что, своротив, влечет его с собой.

СXIII

И устояв до позднего конца,
Он дал хребет приливу сил кипящих;
Но сердце в нем и шаг — не беглеца,
Коль видно сердце в деле рук разящих.
Все веет ужас с буйного лица,
И не слетает гнев с очей горящих:
И всеми силами он норовит
Сдержать толпу, но робкая бежит.

СIV

Напрасно силится великодушной
Замедлить иль устроить их побег;
Браздам искусства вовсе непослушной,
Мятежный страх все просьбы пренебрег;
Годфред, узрев, что счастье им сподручно,
Желает дать победе вольный бег,



С. П. Щеголев (1861 г.)

И рок пока им служит покровителем,
Шлет свежих войск на помощь победителям.

СХV

И если б вышний в книге сокровенной
Иного дня к сему не начертал,
То был бы день как стан непобежденный
Святых трудов венец бы восприял;
Но адский полк, сей битвой озлобленный,
Свое паденье в оной созерцал, —
И не препятствуем, в единый миг,
Сжал воздух в облака и ветер воздвиг.

СХVI

Завесой мрачной от очей накрылся
И царь светил и день: черней чем ад,
Свод неба тучами весь обложился,
И молнии наперерыв блещут.
Взгремели громы, ливень в град сгустился,
Бьет пажити; поля водой шумят,
Вихрь обрывает ветви, — и казалось,
Не дуб, не холм, а Этна рассекалась.

СХVII

Ливень, ветер, гроза, одним порывом,
В очи франкам, неистовые бьют:
Объятые нежданной бури дивом,
Стали войскá — и дале не текут.
Немногие лишь, верные призывам
Своих вождей, от стягов не бегут.
Клоринда издали все это зрела
И к ним с копьём во время подоспела.

СХVIII

Кричит своим: «Небо за нас сражается,
Товарищи! рука его видна, —
И грозный гнев лиц наших не касается;
Десница мощная рубить вольна:
В чело врагам лишь буря ударяется,
И их душа уж страхом смятена:
Доспехи вихрь обил — и в очи дождь:
Вперед, друзья, вперед! судьба нам вождь!»

СХІХ

Так воздвигает полчища — и бремя
Напора адского плечьми приемля,
Натиснула на крестоносно племя,
Ударам праздным их почти не внемля,
Аргант ворочается в то же время,
И губит их, победу зло́ отъемля, —
И верных полк рассыпан по полям, —
Дает хребет и бурям и мечам.

СХХ

По раменам бежавшим ударялись
Бессмертных гнев и смертные мечи;
Ливень и кровь потоками смешались,
Бьют по полю багровые ключи.
Пирр и Родольф на попреще остались,
Где груды тел лежали горячи:
Того Черкасова рука пожала,
Над тем Клоринда пальму восприяла.

СХХІ

Таков был франков бег: их свежий след
Срацины и демоны не покидали.
Один против оружий, против бед,
Громов и вихрей зрелся без печали,
С спокойствием на лице, вождь Годфред,
Стыдя своих, что робко так бежали,
И ставши пред окопами — за вал
Рассыпанный народ воспринимал.

СХХІІ

Не вытерпев, он два раза с конем
На дерзкого Арганта покушался,
И столько ж раз сияющим мечом —
В густейшие толпы врагов врубался;
Но утомлен, со прочими потом
Забрала перешел — и бой скончался.
Тогда срацины в город повернули,
И франки в стане с бегу отдохнули.

СХХІІІ

Но и там гроза в гонении жестоком
Побегом утомленных не щадит;

Огни затушены; вода потоком
Повсюду хлещет, ветер злой свистит,
Полотна рвет, столбы крушит наскоком,
Шатры свивая, по полю кружит:
Дождь с воплем, ветром, громом согласился,
И страшный мир гармонией оглушился.

Рим. 1830

ЭПИГРАММА — ОКТАВА

Рифмач, стихом российским недовольный,
Затеял в нем лихой переворот:
Стал стих ломать он в дерзости крамольной,
Всем рифмам дал бесчиннейший развод,
Ямб и хорей пустил бродить по вольной,
И всех грехов какой же вышел плод:
*«Дождь с воплем, ветром, громом согласился
И страшный мир гармонией оглушился!»*

(До 2 августа 1831)

ПОЗДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (1839—1864)

К Г[ОГОЛЮ]

ПРИ ПОДНЕСЕНИИ ЕМУ ОТ ДРУЗЕЙ НАРИСОВАННОЙ
СЦЕНИЧЕСКОЙ МАСКИ В РИМЕ, В ДЕНЬ ЕГО РОЖДЕНИЯ

Что ж дремлешь ты? — Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска.
Ее покинул славный твой собрат,
Еще теперь игривым, вольным смехом
Волнующий Италию: возьми
Ее — взглядишь в шутливую улыбку
И в честный вид: ее носил Гольдони.
Она идет к тебе: ее лица
Подвижными и беглыми чертами
Он смело выражал черты народа
Смешные, всюду подбирая их,
На улицах, на площадях, в кафе,
Где нараспашку виден итальянец,
Где мысль его свободна и резва, —
И через чистый смех в сердца граждан
Вливалось истинно добро святое!
Ты на Руси уж начал тот же подвиг!
Скажи, поэт, когда, устав от дум
И полн заветных впечатлений Рима,
Ты вечером, в часы сочувствий темных,
Идешь домой, — не слышится ль тебе,
Не отдается ли в душе твоей
Далекий, резвый, сильный, добрый хохот
С берегов Невы, с берегов Москвы родимой?
То хохот твой — веселья чудный пир,
Которым ты Россию угощаешь,
Добро великое посеяв в ней,
Сам удалясь от названных гостей.
Что ж задремал? — Смотри, перед тобой
Лежит и ждет сценическая маска. . .
Надень ее — и долго не снимай,

И новый пир, пир Талли, задай,
Чтобы на нем весь мир захохотал,
Чтобы порок от маски задрожал. . .
Но для друзей сними ее подчас,
И без нее ты будешь мил для нас.

Рим. Января 30/18 1839 г.

ПЕСНЬ ЧЕТВЕРТАЯ ИЗ ДАНТОВА АДА

(ПЕРЕВЕДЕНА РАЗМЕРОМ ПОДЛИННИКА)

В главе моей, глубоко усыпленной,
Внезапный гром раздался: я вскочил,
Как человек, испугом пробужденный.¹

Кругом себя я пристально водил
Пытливый взор, покоем освеженный,
Желая знать то место, где я был.

Под нами вниз спускались бездны склоны;
И скорбью злой кипела бездна эта,
И в вечный гром ее сливались стоны,

И глубина была без цвета:
Мой острый взор, как ни пытался дна,
На что упасть, не обретал предмета.

«Под нами ад — слепая глубина!
Сойдем в нее; я первый — ты за мною» —
Вождь рек и стал бледнее полотна.

Заметив то, я с трепетной душою
К учителю: «Когда робеешь ты,
То чем же я свой трепет успокою?»

И он в ответ: «Напрасны суеты!
При виде бездны сей многострадальной
Мою тоску за трепет принял ты.

Идем, идем: нас путь торопит дальный!» —
Так говоря, мы вместе с ним вступали
Печальной бездны в круг первоначальный;

¹ Поэт пробуждается у бездны ада, к которой перевезен был Хароном и на краю которой он пал без чувств, как усыпленный.

И здесь, когда прислушиваться стали,
Здесь не был плач, не вопли муки, но
Вздыханья вечный воздух волновали:

От скорби без мучений было то;
И скорбью той мужчины, жены, дети,
Все возрасты страдали заодно.

Учитель мне: «Ты не спросил, кто эти?
И почему вздыханьям их нет меры?
Греху они не попадали в сети:

Меж ними есть и доблести примеры.
Но мало то: они не крещены
И не прошли вратами вашей веры.

До христианства в мире рождены,
Пред светом истины смыкали вежды:
Я в их семье, участник их вины.

Мы здесь живем — несчастные невежды,
Погибшие незнанием: наш удел
Томиться всё желаньем без надежды».¹

От слов его я сердцем заболел,
Когда среди страдающего лика
Мужей, венчанных доблестью, узрел.

«Скажи, скажи — учитель и владыка, —
Так начал я, желая знать точней,
Сколь веры нашей власть была велика, —

Возмог ли кто заслугою своей
Или чужой, отсель в пределы рая?
Проникнув в тайный смысл моих речей,

Он дал ответ: «Здесь внове был тогда я,
Когда нисшел могучий посетитель,
Победоносным знаменем сияя».²

С ним отошли и первый наш родитель,
И Авель — сын его, и Моисей,
Народа вождь и господя служитель,

¹ В словах *Виргилия* заключается описание *лимба*.

² *Виргилий* умер по иным за 19 лет до р. Х., а по другим на третьем году от р. Х.

Ной, Авраам, Давид — пример царей.
Израиль сам с семьей благословенной,
С отцом слепым, с Рахелию своей,

И многих к жизни он возвел блаженной:
А ведать надо, что до тех святых
На свете не было души спасенной».

Ведя беседу, мы шагов своих
Средь сонма душ ничем не прерывали,
Как частый лес, минуя тени их.

Путь не далек от края мы свершали,
Когда вдали огонь увидел я,
Лучи которого потьмы пронзали.

Хоть свет еще не падал на меня,
Но мог я разглядеть, что в этом месте
Была мужей почетная семья.

«О ты, стяжавший все познаний чести!
Скажи — кто эти? Им за что почет?
Зачем одни, а не с другими вместе?»

Он отвечал мне: «Там, где мир живет,
Звенит о них прекрасная молва,
Которую и небо признает».

Меж тем в мой слух ударили слова:
«Воздайте честь великому Поэту:
Вот тень его обратно к нам пришла».

Глас смолк, — и нам, ко встречному привету,
Явилось четверо: по их чертам
Ни радости, ни скорби я примету

Не мог прочесть. Учитель начал сам:
«Смотри — вон тот, что впереди как главный,
С мечом в руке, идет навстречу нам,

То сам Гомер — Поэт самодержавный,¹
За ним Гораций, тут Овидий стройный,
В конце Лукан, Фарсалиею славный.

¹ Omero — poeta sovrano. Так Дант еще отдал Гомеру пальму первенства.

И как из них по праву и достойно
Со мною каждый званье разделяет,
Меня чествят — и так оно пристойно».

Здесь я узрел, какой венец сплетает
Семья певцов вокруг своего царя,
Что над другими как орел летает.

Недолго меж собой поговоря,
Они ко мне привет свой обратили:
Мой вождь, меня улыбкой подаря,

К ним ввел: они тотчас благоволили
Меня в свое собрание принять
И в их премудрый сонм шестым включили.

Мы шли к огню, ведя слова опять,
О них же здесь и умолчать прекрасно,
Как было там прекрасно их сказать.

Пред нами замок рисовался ясно;
Семь стен его семь раз облокли;
Кругом ручей журчал унылогласно.

Но мы ручьем как по суху прошли;
Семью вратам в стены необъятны
Вступив, узрели на ковре земли

Сонм новый теней, величавый, знатный;
Их очи медленны и важны были.
Слова немноги, голоса приятны.¹

Мы к стороне нарочно отступили,
Чтобы на светлом месте и высоком
Увидеть всех, кому тут быть судили.

Здесь на эмалевом лугу широком
Явился мне великих душ собор:
Как вспомню их, душа кипит потоком!²

Электру видел я — и с нею хор
Троян и греков — Гектора, Энея;
Там Цезаря сверкал орлиный взор.

¹ Этими словами описан у Данта характер мужей мира древнего.

² Встреча Данта, поэта средних веков, с миром древним в лимбе есть одно из замечательных мест в его поэме по своему значению.

Камилла тут была, Пентезилея
С другой страны, и древний царь Латин,
Дочь при себе Лавинию имея. ¹

Там первый Брут, свободы дикой сын.
И римских жен сияла тут краса;
Вдали один был виден Саладин.

Лишь только выше поднял я глаза,
Смотрю: сидит в премудром окруженье,
Всех мудрецов и мастер и глава. ²

И все ему несут благоговенье.
При нем Сократ и ученик Платон,
А прочие в пристойном отдаленье.

Тут Демокрит, кому весь мир есть сон
И случай правит от начала века;
Анаксагор, Эмпéдокл и Зенон.

И Диоген, искавший человека,
Диоскорид, природы свойств пытатель,
Фалес, Орфей и нравственный Сенека,

Эвклид и Птоломей, земли познатель,
Ипóкрат, Галиэн и Аверрой,
Беликого великий толкователь. . . ³

Я не могу припомнить весь их строй;
К тому ж и труд меня вперед заводит;
Для дела слов недостает порой.

Здесь сонм певцов от нас уже отходит:
Из мира тихого меня Поэт
В мир, ветрами волнуемый, уводит:

Иду туда, где тьма покрыла свет.

Рим. 1839

¹ Камилла, воинственная дочь Метаба, царя вольсков. Пентезилея, царица амазонок, убитая Ахиллом. Латин с дочерью Лавинией — лица, или действующие или упоминаемые в поэме Virgiliana. Отсюда понятно, как они живы были в воображении Данта, ученика его.

² Аристотель. Кому неизвестно благоговение, с каким весь средний век смотрел на Аристотеля?

³ Комментарий араба Аверроя на Аристотеля был рукою книгоу ученых среднего века.

МАДОННА

Мадонна грустная крестом сложила руки:
О чем же плакать ей, блаженной, в небесах? .
О чем молиться ей — и к небу сердца звуки,
Вздыхая, возсылать, в уныньи и слезах?

Недаром падает, свежа и благовонна,
На землю жесткую насущная роса:
То плачут каждый день, как грустная Мадонна,
О немощах земли святые небеса.

Недаром голуби в лазури неба вьются,
Недаром лилии белеют по полям,
И мысли чистые от избранных несутся
Сквозь тьму нечистых дел к прекрасным небесам.

Когда б безгрешное о грешном не молилось.
Когда бы праведник за гордых не страдал:
Давно бы уж земля под нами расступилась,
Давно бы мрачный ад всё светлое пожрал.

Вздыхай же и молись, и не скудей слезами,
Источник радости, вселюбящая мать!
Да льются теплые живящими реками
И в мире темном зла не будут иссыхать!

В сердцах пресыщенных, на алчном жизни пире,
В сердцах, обманутых надеждою земной,
Чем будет жить любовь в сем отлюбившем мире? —
Твоей молитвою, вздыханьем и слезой.

Рим. 1840

ОКА

Много рек течет прекрасных
В царстве Руси молодой,
Голубых, златых и ясных,
С небом спорящих красой.
Но теперь хвалу простую
Про одну сложу реку:
Голубую, разлившую,
Многоводную Оку.
В нраве русского раздолья
Изгибается она:

Городам дарит приволья
Непоспешная волна.
Ленью чудной тешит взоры;
Щедро воды разлила;
Даром кинула озера —
Будто небу зеркала.
Рыбакам готовит ловли,
Мчит тяжелые суда;
Цепью золотой торговли
Вяжет Руси города:
Муром, Нижний стали братья!
Но до Волги дотекла:
Скромно волны повела, —
И упала к ней в объятья,
Чтоб до моря донесла.

Сентябрь 1840

ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ

Прекрасный день в лазури беспредельной
Раскинулся и радует меня,
И небо всё слилось в яхонт цельной
Оправую светилу дня.

Горящее всемирными лучами,
Как бога глаз, на небе зажжено,
Над нашими тревожными главами
Спокойно плавает оно.

Земля цветет невестою румяной,
И взор, живым веселием горя,
С ее одежды, радугою тканой,
Пьет жадно краски бытия.

Но от земли, от розы пурпуровой,
От чистых рек серебряной волны,
От синих гор, от зелени шелковой
Стремленья чуткого полны, —

Бегут глаза, алкая там предмета,
Где носится светящее оно —
И что же там? — Единой капли света
Вкусить им в солнце не дано

Оно — одно горит в небесной чаше!
Земля моя, — мой лес и океан!
Оно одно, глаза мои, не ваше, —
И свет его на вас туман!

Смиритесь в отваге беспредельной,
И робкие, вы падайте на дол:
Прекрасный день, и неба яхонт цельный,
И солнце тайны мне символ.

И духом я смиряясь умолкаю!
Объемля им созданья естества.
Как мотылек на свечке, исчезаю
В горящей тайне божества.

1840 Сентябрь

НА СМЕРТЬ ПОЭТА

Не призывай небесных вдохновений
На высь чела, венчанного звездой;
Не заводи высоких песнопений,
О юноша, пред суетной толпой.
Коль грудь твою огонь небес объемлет
И гением чело твоё светло, —
Ты берегись: безумный рок не дремлет.
И шлет свинец на светлое чело.

О горькой век! Мы, видно, заслужили,
И по грехам нам, видно, суждено,
Чтоб мы теперь так рано хоронили
Всё, что для дум прекрасных рождено.
Наш хладный век прекрасного не любит,
Ненужного корыстному уму,
Бессмысленно и самохвально губит
Его сосуд — и всё равно ему:

Что чудный день померкнул на рассвете,
Что смят грозой роскошный мотылек,
Увяла роза в пламенном расцвете,
Застыл в горах зачавшийся поток;
Иль что орла стрелой пронзили люди,
Когда молодой к светилу дня летел;
Иль что поэт, зажавши рану груди,
Бледнея пал — и песни не донел.

'1841/

Ага! узнал и тотчас ты заметил
Мои стихи, — признайся — почему?
Не правда ли, ты с жадностью их встретил,
Как пес лозу, знакомую ему?
Кусай — прошу: что, горьки или сладки?
Но чтоб вперед тебе не дать повадки,
Тупым зубам напомню я стихом,
Что он живет, что много силы в нем
Добить твои последние остатки.

[1841]

31 ДЕКАБРЯ

Чу! внимайте . . . полночь бьет!
В этом бое умирает
Отходящий в вечность год
И последний миг сливает
С первым мигом бытия
Народившегося года:
Так, всё цепью выводя,
Вяжет дивная природа.

Где ж раздельное звено?
Где граничное мгновенье?
Плод в зерне, в плоде зерно:
В сменах сих живет творенье.
Но есть жизнь, где нет волны,
Нет полуночного боя:
Там святыня тишины,
Точка вечного покоя.

1842

* * *

На реках блистает летом
Наше тело белизной:
Дивный образ, солнца светом
Весь облитый и живой!
Краше нет в созданьях тела
Этой мягкой белизны:
Красота не пожалела
Линий правильной волны.

Зелень леса, снег лилей,
Белый пух гусиной шеи
Пурпур розы, облака,
Небо, море и река, —
Всё уступит краске этой,
Солнца пламенем согретою.
Сам творец со всех цветов
Снял ее любовной дланью
И любимому созданию
Краше всех соткал покров.

Август 1854

ПЕСНЯ-СКАЗАНИЕ ОБ ОЗЕРЕ ПЛЕЩЕЕВЕ

Как не бель вдали забелелася,
Как не спнь вдали засинелася, —
Засинелось озеро Плещеево,
Заплескали струи его белые.
Как на тех струях яхта малая,
Яхта малая разубранная,
Разубранная всё качается,
Белым парусом повивается
Да вглубь озера подвигается.
Рулевым сидит сам голландец Брант;
Гребет веслами удал молодец
Государь сам Петр Алексеевич.
Кудри черные по плечам летят,
С ветром озера разговаривают;
Очи зоркие далеко глядят,
Далеко глядят, думу думают:
«Что же русской люд? аль к земле прирос?
Что ж морской волны не попробует?
На кораблике не потешится?
Ведь захочет же — рыбкой плавает.
Ах! не даром же моря синие
Облегли у нас землю дальнюю.
Озера лежат — что моря глядят,
Реки движутся полноводные,
Полноводные, судоходные!»
Думу думал царь, — всё качалася,
Все вглубь озера подвигалася,
Белым парусом повивалася
Яхта малая, разубранная,

Рай-игрушечка Петра Первого,
Колыбелочка моряков родных,
Зерно малое флота русского.

Вот росло зерно в дуб раскидистый,
Дало веточки кругосветные,
С Чесму выросло, с Наварин, с Синоп, —
Но завистлив люд на земле живет!
За́ беду ему красота дубка,
Обрубил ветки, да с одной стороны,
Опалил листья многошумные.
Но тебе ль унывать, сила русская?
Ты расти, зерно, назло зависти,
Собирая в себя соки здравые,
Укрепляясь силой божьею,
Даром разума да наукою,
Помни Первого, кто любил тебя
На лазоревом своем озере.
А в том озере вода светлая,
Вода светлая, вся хрустальная,
Вся насквозь видна, небесам равна,
Что душа моряка непорочная,
Что Корнилова аль Нахимова,
Всё нечистое вон выплескивает, —
Потому оно и Плещеево.

Сложил песню я: в ней сказание
О том озере, о Плещееве,
Славным молодцам на послушанье,
Дорогим гостям на потешенье,
На честном пиру у Василия,
У Василья свет Александровича,
У хозяина хлебосольного,
У любителя славы русския,
У ценителя русских доблестей.

Москва. Февраль 23, 1856 г.

РОМАНС ТЕКЛЫ (из пикколомини)

Бушует бор, шумят небеса,
По берегу бродит дева-краса, —
И рвется и бьет о камни волна,

На темную ночь взор слезный она
С печальною думой вперила.

Уж вымерло сердце — и пуст ей свет.
В нем светло-желанного нет как нет.
Возьми ж, пресвятая, меня к своим:
Уж я насладились блаженством земным;
Уж я отжила, отлюбила.

Блажен, кто Шиллера любил,
Кто с ним провел молодые годы,
И жизни пир весенний посвятил
Певцу мечты и пламенной свободы!

Сентября 13, 1856 г.

УТРЕННЯЯ ЗВЕЗДОЧКА

Звезды тускло замерцали,
Забелел вдали восток,
Струйки ярче заплескали,
И проснулся ручеек.

Вот одна, сияя светом
Звезд померкшего следа,
К солнцу с утренним приветом
Вышла яркая звезда.

И за всех, на небе ясном,
Одинокая горит,
И в содружестве прекрасном
С нею месяц говорят:

«Что, красавица Востока,
Так прелестна и светла,
В синеве небес высоко,
Перед утром ты взошла?»

Скоро в утреннем блистанье
Загорятся небеса:
Лишь на миг твое сиянье,
Лишь на миг твоя краса!» —

«Месяц! радости — мгновенья, —
Меркнув, молвила звезда. —
Моего ты наслажденья
Не изведаль никогда.

Что за сладость — в час рассвета
Встретить солнце в небесах
И, упившись морем света,
Потонуть в его лучах!» —

Провела перстом Аврора,
Край востока заалел:
Звездочка погасла скоро,
Месяц только побледнел.

[1857]

ЖАВОРОНОК

Ах, мой жаворонок чудесный!
Как ты радуешь меня,
Колокольчик мой небесный,
В чистом воздухе звеня!

Веселясь на резвой воле,
В небесах когда поешь,
Словно весточку оттоле
Мне ты радостную шлешь.

[1857]

КИБИТОЧКИ

Был очень жарок день — и жатва начиналась.
Семья усердных жниц с серпами наклонялась
Над рожью, падшею от тяжести зерна,
И нива на землю ложилась как волна.
Вблизи поляны той, где жатвы начинали,
В кустах, с младенцами кибиточки стояли,
Где нежных матерей забота собрала
Всех младших жителей из мирного села.

Вопль часто прерывал ретивую работу,
И мать меняла серп на лучшую заботу,
И грудь вложив в уста младенца своего.
Унылой песенкой баюкала его. —

Не плачьте горько так, невинные младенцы,
Юнейшие земли родимой поселенцы,
Над вашей младостью не дремлет ночи тень,
Вам брезжит вольный свет, вам всходит новый
день.

О вас моя печаль, за вас моя молитва:
Да будет не трудна вам новой жизни битва.

/ ? /

К НОВОМУ ПОЭТУ

Вот новый наш поэт; он нов, но не велик,
Оригинален он, поэтов нет с ним схожих.
Он ходит, высуня язык,
И дразнит им прохожих.

[Декабрь 1858]

ЕЩЕ К НОВОМУ ПОЭТУ

Впдали ль вы, как уличный мальчишка
Прохожих дразнит языком?
Вот новый наш поэт; весь тут его умишка;
Но вместо языка он дразнится стихом.

[Декабрь 1858]

СОВРЕМЕННАЯ ПЕСЕНКА

Покади мне, покади,
Добрый мой приятель!
Похвалою награди,
Кстати ли, нестати ль!

Воскурят же фимиами!
Ближе, ближе к носу!
Мы разделим пополам,
Словно божью росу.

Похвалою в свой черед,
Письменной, изустной,
Я воздам, и расцветет
Лавр наш в лист капустный.

Сладок чад своих похвал!
Сладок пир куренья!

Задохнуться б я желал
В дыме восхваленья!

Покади же, покади,
Добрый мой приятель!
Похвалою награди
Кстати ли, некстати ль!

К ИТАЛИИ

И для тебя настал свободы миг,
Раба своих тиранов и чужих!
И ты, цепей почувствовав обиду,
Зовешь на них народ и Немезиду!
О кто тебе, красавица, из нас
Не скажет вслух: бог помочь! в добрый час!
Пошли тебе господь свой дар — свободу —
И за твою счастливую природу,
И за твои лазурны небеса,
За песен дар, за звонки голоса,
За чудеса небесных вдохновений,
Что навевал тебе искусства гений,
За жертвы все, за пролитую кровь,
За красоту, за веру, за любовь,
За славное от бога назначение
Два раза дать народам просвещение,
За то, что некогда в семье твоей
И пел твой Дант и мыслил Галилей,
За то, что ты через века страданий
Спасла ковчег народных упований.

Апрель 26 [1859]

СПЕЦИЯ

Бесконечность моря,
Бесконечность неба,
Две великих мысли
Божия созданья
Здесь всегда присущи
Взору человека
И ведут беседу
С мыслию его.

Горы словно цели
Налегли на землю;
Как магнит могучий,
Вольную стихию
Втягивают в недра,
Но ей в них неймется,
И живая рвется
Вдаль и на простор.

Спорят как титаны
Горы с небесами,
Головы и гребни
Кверху поднимая,
Облака у неба
Сразу отрывая,
Но лазурь восходит
Вольная от них.

Бесконечность моря,
Бесконечность неба,
Две великих мысли
Божия созданья
Здесь всегда присущи
Взору человека
И ведут беседу
С мыслию его.

1861

* * *

Покинув дом и в нем заботы,
От дум свободный, от работы,
О море, отдых бытия,
В твоих волнах купаюсь я!
Зачем же ты, волна морская,
Меня лелея и лаская,
И силы мне восстанавливая,
Напомнила вкус наших слез?
Соленое, как наше горе,
Ты облегло всю землю, море,
И отразило свод небес.

[1861]

19 ФЕВРАЛЯ

О люди русские! благословим сей день
И воздадим хвалу мы богу всеблагову
За то, что с родны слетает рабства тень,
Не будет человек принадлежать другому.

Обрадовала ль весть томящийся народ?
Сбылось ли древнее душа его гаданье?
Взломала ль наша Русь цепей мертвящий лед
И богу отдала ль его же достоянье?

Вольнее ль дышится на родине моей?
Небесною ценой искуплены ли люди?
И воздух, веющий с родных моих полей,
Отраднее ли стал для благородной груди?

Везде цветет она, свобода — божий плод!
Везде зовет на пир счастливые народы!
История, пришел и наш черед;
Пора и нам вкусить божественной свободы!

Без милой вольности и мыслей крыльев нет!
Мертва и красота, коль духом не свободна!
Затворен к истине веками тертый след,
И к вышним небесам молитва недоходна.

Слетел ли ангел к нам с лазоревых высот,
И совершилось ли ожидаемое ныне?
Повеяло ль с небес отрадою в народ,
Тепла была о том молитва на чужбине.

[Флоренция. Конец февраля 1861]

ОТКЛИК

Благая весть! Исчезла крепость —
И цепи разом порваны:
Смолкает гул их, как нелепость
Давно отжившей старины.
Вольнее дышится — приятно!
Отрадней смотришь на людей,
И веет воздух благодатный
С далеких родины полей.

О сколько дружных ликований
Несется к нам с ее концов!
Как весел звук таких лобзаний,
Возвышен смысл таких пиров!
Нам дан из царственных объятий
Залог основной, в добрый час,
В свободе меньших наших братий,
Свободы каждого из нас.

Дух божий носится над нами,
Как в оны дни над бездной вод;
Горя небесными огнями,
Народы к жизни он зовет.
Цари! ваш первый друг — свобода
Вам нет союзников верней.
Свободы вашего народа
И просвещения людей.

Флоренция. Мая 1/апреля 19 1861 г.

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (1820—1824)

К ДРУЗЬЯМ

Под кровом мирным воспитанья,
Во цвете юных, пылких лет,
Чуждаясь горестей, страданья,
Забывши шумный, громкий свет,
Среди обилия, покоя,
Не зная бурных скорби дней,
В кругу любезнейших друзей —
Ведем мы время золотое!
И дружба с радостным лицом
Свой взор спокойный осклабляет
И тихо, нежно осеняет
Питомцев — счастья венцом.
Улыбка радости сердечной
На ваших видима устах,
Являя клятву дружбы вечной,
Запечатленную в сердцах.
Здесь радость, тихими крылами
Смиранный осеняя кров,
Обитель зиждет между намп,
Спуская светлый свой покров.
Здесь гений юности благия,
Украшен сердца чистотой,
Предвестник радости земная,
Дарит веселье нам — покой,
И ветвь оливному опуская,
Улыбкой счастья нас живит,
В сердцах стремленье вспламеняя
К добру — невинностью блеснит.
Здесь просвещение в нас вдыхает
Огонь к родине любви святой;
Надежды юной луч златой
Наш путь к блаженству озаряет.
Водимы дружества рукой,

Клоня к добру свои желанья,
Здесь посвятили труд мы свой
Ко благу всех — к образованию:
Вот наших счастливых сердец
В сей жизни краткой назначенье!
Да подкрепит благой творец
Своей десницею и терпеньем
Ему покорных, юных чад;
И добродетель неизменна
И трудолюбье непременно
Нас в жизни скромной озарят.

В letech беспечных и невинных,
Друзья, цветом средь юных дней,
Вкушая радости едины
Средь мирных счастья полей.
Но скоро, скоро нам настанет
Сей жизни бурный океан,
Покой нас нежить перестанет;
Несчастья сумрачный туман
Затмит блеск радости невинной —
Златого солнца ясных дней;
Беды и горести едины
Нам явят лик среди скорбей.
Блаженства нашего померкнет
Доселе светлая заря,
И нежный счастья цвет поблекнет,
Тогда воскликнем мы, смотря
На дней безбурных отдаленье:
«Прости, о юность, век златой!
Простите, жизни утешенья!
Прости, наш кров! прости, покой!
Невинны радости — престали,
Улыбкой лица не блестят,
Мечты! и вас уж нет — увяли!
Простите!» — вот последний взгляд
На даль глубоко обращаем
И с тихим трепетом взираем
В сей скорбный и жестокий час.
Но что-то из потухших глаз
Невольно, трепетно катится
И по ланитам серебрится
И прикасается устам.

Ах! вот слеза — вот воздаянье
Протекшим юности мечтам.

Одно лишь мрачно вспоминанье
Останется от прежних лет!
Померкнет счастья блистанье,
Пройдет. . . исчезнет всё. Ах! нет,
Надежды слабое мерцанье
Мгновенно оживит сердца
И сладостное упованье
На всемогущего творца
В нас радость мирную, блаженну
Своею силой воскресит
И добродетель подкрепит
Своей десницей вознесенной,
Слеза сольется со слезой,
Уста вдруг сблизятся с устами,
И дружба тихими крылами
Привеет радость нам — и свой
Воздвигнет трон между сердцами,
Улыбку на устах родит
И снова прежними цветами
Наш путь ко счастью усладит.
Чья добродетель здесь подруга,
Тот счастлив средь плачевных дней!
Кто в жизни юной избрал друга,
Тот в бедности богат своей.

О вы, лет юных упованья,
Опора верная друзей,
Которых клонятся желанья
К добру и к радости их дней,
Наставники питомцев юных!
Стремите вы свои сердца,
Чтоб кров доставить нам приютный
В святой обители творца,
И чтоб на океане жизни
Нашли мы брег желанный сей,
Любезный край другой отчизны,
Где счастье прежних юных дней
Смирненно, тихо обитает,
И дружба радость поселяет
И где спокойствие цветет.

Любезный край уединенья!
Обитель дружбы, край спасенья,
Куда нас счастье позовет
И где плоды образованья
Нас в скорбях лютых усадят.
Наставники! здесь в воспитанье
Вы обращаете свой взгляд
На наше к счастью стремленье,
И отческая ваша длань
Хранит дней юных спокойенье.
Примите вы, примите дань
Драгую от сердец невинных!
Да успокоит вас творец
И радости подаст едины;
Как нежный, добрый наш отец
Услышит он моления юных
Ему покорных вечно чад.
Он вам пошлет покой приютный,
И радости вас озарят.
Он вас щитом своим покроет
И в дни преклонны успокоит.

Друзья! к обители святой
Мы в жизни краткой сей стремимся,
Где благом вечным насладимся,
Где радость, тишина, покой
Воздвигли трон свой бесконечной,
Где древо счастья цветет,
Где мирной жизни тихий ход
Украшен радостью вечной,
Где прежний ангел нас крылами
На лоне осенит отца.

Так, поклянемся мы сердцами
Любить и прославлять творца;
В душах пусть дружба сохранится
И поселит средь нас покой;
В сердцах навеки начертится
Святою истины рукой:
«Чья добродетель здесь подруга,
Тот счастлив средь плачевных дней;
Кто в жизни юной избрал друга,
Тот в бедности богат своей!»

(1820)

УТЕШЕНИЕ СТАРЦУ

ПОДРАЖАНИЕ

Давно ль во цвете лет сей смертный несчастливый
Дни жизни посвящал веселости игривой?
А ныне одинок — с увянувшей душой,
И ясное чело омрачено тоской.
Уж время грозное над ним блестит косою
И скорбную главу устлало сединою.
Он взоры с горестью престер вокруг себя:
Где дни невинности, где милые друзья?
Там юность резвая нас красотой пленяет
И радостью своей в нем горесть умножает.
Исчез веселий вид, увяла красота,
И отлетела вдруг прелестная мечта.
И чада счастья — златые воспомнанья,
Заменой бывшие их матери, — как сон
Исчезли наконец, оставив средь страданья
Его, несчастного, — не зрит отрады он.
И взоры пламенны, — исполнены слезами,
Привыкшие взирать на красоту небес,
Пленять себя святой природы чудесами,
Уж вниз потуплены, погаснувши от слез;
Он вспомнил с горестью о невозвратной силе,
И гордое чело склоняется к могиле.
Весна уж для него красою не цветет,
Ни юная заря не восхищает взоры,
Ни пышные дары всегда цветущей Флоры,
Всё вянет с жизнью, и мир уже не тот!
Зардится ль тихий свет и неба свод алеёт,
Его слеза с росой на землю упадет,
Иль к западу склонясь, денница вечереет,
Наш старец немощный в тоске всё слезы льет.
Уединен от всех, всё бедного тревожит;
Он жить уже престал, но умереть не может.
Но кто хранит его, кто сей несчастных друг?
Не божия ль рука спокоит скорбный дух?
Над ним еще парит веселая Надежда,
Богиня предстает несчастного очам;
Сиянием златым блестит ее одежда,
И снова он простер взор светлый к небесам.
Доселе томный дух юнеет пробужденный,
Надежды гласу вняв, воспрянул он от сна,

Наш старец снова млад, надеждой подкрепленный,
И для него цветет бессмертная весна.
Он зрит уже поля небесныя отчизны,
Он снова радостен, и вечер мрачной жизни
Украшен счастья восставшею зарей.

О вы, которые пленяете красой!
Любимцы счастья, которых нежит младость!
За мною на поля в смиренный старца кров.
Взирайте, там стоит в тени густых дерёв
Жилище бедное, там обитает радость.
Не вы лишь счастливы, есть счастье у других.
Воззрите! старец сей конца ждет дней своих.
Забыв навеки мир и миром позабытый,
Земное всё презрев, небесным восхищен.
Темнеет светлый взор, уже полузакрытый,
И зрит цветущий рай, на небо устремлен.
Напрасно сын труда, возделыватель нивы,
Он класы пожинал рукой трудолюбивой:
Он жил, чтобы страдать, где тчания плоды?
Где старцу сирому трудов его награда?
Был друг и нет его: где горести отрада?
Утратил силы он и где его труды?
Нет, не оставлен он, — надежды светлый Гений,
Посланный от небес религией святой,
Летит к несчастному в замену наслаждений
И вот в обители и с горестной слезой
Отрадную слезу как нежный друг сливает,
Хранит его покой, лелеет, утешает,
И старцу друг земной небесным заменен.
Он с ним беды забыл и незнаком с тоскою,
Надеждой он живет, надеждою пленен,
И радости его приветствуют толпою,
И счастье снова с ним — цветет небес краса.
Надежда тихая, его хранитель Гений,
Являя перед ним обитель наслаждений,
С улыбкою его ведет на небеса.

[1820 г.]

ВСЁ ПРОХОДИТ

Не печалься, друг, напрасно,
Что уж в роще не поет
Соловей твой сладкогласный;

Быстро в жизни сей ненастной
Всё прекрасное пройдет.

Зри, как скоро померкает
Утренней зари рассвет;
Роза взоры всех пленяет
И внезапно увядает,
Как зари прелестный цвет.

Скоро в пылком чувств движенье
Радостный проходит час,
Скоро мирное терпенье,
Кротость — добрых наслажденье
Вдаль скрываются от нас.

Взора светлого сиянье,
Сердца пламенного жар
И крылатое желанье
И игривое мечтанье —
Всё небес минутный дар!

О певец любви и мира!
И небесный дар прейдет;
Изменит, умолкнет лира.
Зришь ли ты полет Зефира?
Так исчезнет муз привет.

Где же радость непременно?
Где бессмертная краса?
Добродетель — неизменна!
Ей обитель не вселенна,
Ей обитель — небеса.

Как в полях Борей могучий
С шумом грозным вдаль летит,
Увлекает мрачны тучи
И, взвевая прах летучий,
Смертью страшною грозит,

Так, мой друг, невозвратимо
Время грозное течет!
Молишь ты — неумолимо;
Пролетает счастье мимо,
Лишь одно добро живет.

Зри: в древесной мирной тени,
Лишь расцвел, как вдруг увял
Благовонный цвет весенний:
Но в его родимой сени
Запах нежный не престал.

Так и добрый; — он делами
И по смерти не умрет:
На земле счастлив друзьями,
Награжден он небесами; —
Мрак для злых, — для добрых свет.

С жизнью ль добрый расстается, —
Он спокоен и счастлив.
Пусть Сатурн с грозой несется,
Славы чистой не коснется:
Добрый в сердце добрых жив.

[1822]

А. А. ПРОКОПОВИЧУ-АНТОНСКОМУ

Счастливы добрые! они живут в веках
И в мраке слава их, как солнца луч, блистает.
Обитель добрых — в небесах!

Там им венец бессмертия сияет,
И грозный времени полет
Их славы вечной не сотрет.

Счастлив ты, наш отец! счастлив — благотворитель!
Святая истина — твой неизменный друг,
А вера кроткая твой вождь и твой хранитель;
Ты с ней прешел свой путь и твой спокоен дух.
Уж жизнь твоя, мудрец, спокойно вечереет,
И счастья заря перед тобой светлеет.
Пусть бедствия страшат, — доволен ты судьбой;
Пусть время над тобой гремит грозой ненастной,
Ты весел и счастлив, и я еще молодой,
А с завистью смотрю на вечер твой прекрасный.

Ты на протекшее спокойно созерцаешь,
И будущность перед тобой светла;
Ты все несчастия сей жизни презираешь:
С тобой — твои дела!

Тебя благодарит отечество священно,
Взирая на сынов, взлелеянных тобой.

Там воин, сын побед, питомец юный твой,
Тобой любовью к отчизне вдохновенный,

Во вражий стан стрелой летит
И лаврами венчан, оставив поле битвы,
Приносит о тебе всевышнему молитвы, —
Тебя благодарит.

Там мудрый гражданин по правилам, внушенным
Твоею мудростью, суд правый всем чинит:

Пред алтарем отечества священным
Карает злобного, невинного хранит.
Тут доблестный отец в семье покой вкушает;
Он видит чад своих, взлелеянных тобой,
И в них надежды цвет, — и с радостной душой
Слезами взоры орошает.

И, благодетеля, тебя благословляет.
Все дань сердечную тебе несут, мудрец!

Прими ее и ею наслаждайся;
Твои дела тебе награда и венец:
Взирай на них — и улыбайся.

1823 года. Января 17 дня.

ЧЕЛОВЕК

(из ГЕРДЕРА)

Однажды у ручья, под сенью древ густой.

Забота мрачная мечтала.

И светлый образ изваяла

Своею смелою рукой.

«О чем, богиня, размышляешь?» —

К ней приступив, сказал Зевес.

«Ты образ пред собой бездушный созерцаешь; —

Молю тебя, вдохни в него огонь небес! . . .» —

«Да будет» — мощный рек, — и в прахе жизнь явилась,

И назвал он творение *своим*;

Но тут богиня сокрушилась:

«Не разлучай меня ты с ним, —

К нему гласит она с мольбою, —

И нежной матери внимли! . . .»

Меж тем приблизилась к ним важною стопой

Богиня древняя Земли

И тем воскликнула, взирая на творенье:

«Оно из недр моих и мне принадлежит». —

«Но вот, — вещает Зевс, — бог времени летит.
Он совершит определение». —
«Покорствуйте, — Сатурн изрек, — судьбам святым
И все владейте им! . .
Рукою смерти пораженный, —
Зевес, он возвратит тебе свой дух нетленный,
А бранный прах — земле.
Но жизнь его, печаль! — принадлежит тебе.
Ты покажи ему страданья;
В страданиях сына поучай,
И на пути тернистом испытанья
К могиле провожай».

Судьбы нам истину сказали?
Сие творенье — человек.
Всю жизнь принадлежит печали,
А небу и земле, когда скончает век.
[??]

ТОРЖЕСТВО ЛЮБВИ

(гимн шиллера)

Счастливы любовью боги, —
Не любовью ль
Мы равны богам?
С нею рай светлее, —
С нею мир подлунный
Небом светит нам!

Древле, слышится преданье,
Из недвижимых скал
В миг возникло мирозданье,
Смертных род восстал.

Их сердца, как холодный камень;
Злоба в них и страх.
И небес всеильный пламень
Не пылал в душах.

Ни Амуров рой воздушной
Не манил четы послушной
Цепью их цветов, —
Хор Камен — любви мимых —

Не пленял сердец унылых
Звуком голосов.
Ах! любовники не знали
Плесть венцы порой;
Вёсны с грустью отлетали
Вслед одна другой,
И Аврора без привета
Восставала с вод;
Без привета нисходило
Солнце в лоно вод.

По лесам сыны печали
Одинокие блуждали,
Бремя в их сердцах.
Ни слеза любви страданья
Не искала упованья
В мрачных небесах.

Но вдруг всплыла из светлых волн
Дщерь неба, взор любовью полн;
И вот плывут в пучине
Наяды вслед богине.
Как утра юного рассвет,
Так озарил Весны привет
Творенья мрак бездонный!
Стихии дышат, жизнью полны!

Денница с звездной высоты
Богине улынулась,
И роза с трона красоты
Пред нею развернулась.
Уж заунывный соловей
Запел ей песнь любви;
Уж волны оживил ручей
Дыханьем любви.

Твой мрамор дышит красотой —
О Пигмальон! о воскреситель!
О бог любви! ты — победитель:
Твои созданья пред тобой.

Счастливы любовью боги —
Не любовью ль
Мы равны богам?

С нею рай светлее, —
С нею мир подлунный
Небом светит нам!

Как мечта, как нектар алый,
Бьющий искрами в фиалы,
Средь любви пиров
Дни летят богов.

Грозовым перуном блещет
С трона гордого Кронид,
Гнев власы его крутит,
И Олимп под ним трепещет. —

Зевс богам оставил трон,
Бог миров — с земли сынами,
В мгле дубрав вздыхает он!
Смолкли громы под стопами,
Леды пламенной устами
Страх Титанов усыплен.

В голубых волнах эфира
Коней белою четой
Правит Феб в броне золотой;
В прах пред ним народы мира!

Что ему его порфира,
Что ему народы мира?
Для любви, для звучных лир
Он забыл, забыл про мир.

Там к Юнонину престолу
Сонм богинь склонился долу;
Гордый взор ее скользит
Над четой младых павлинов,
Блеском радужным рубинов
На власах венец горит.

О богиня! что нам в славе?
Нет любви в твоей державе!
Вянут жизни в ней цветы...
Но кому сей глас молебный?
С гордой трона высоты

Молишь пояс дать волшебный
Не богиню ль красоты?

Счастливы любовью боги —
Не любовью ль
Мы равны богам?
С нею рай светлее, —
С нею мир подлунный
Небом светит нам.

Свет любви пронзает ад!
Там лучи его блещут —
В темном царстве злой судьбины:
Пред улыбкой Прозерпины
Воссиял Плутона взгляд:
Свет любви смиряет ад.

Зазвучали ада своды,
Цербер смолк, — то глас свободы,
Лиры глас твоей — Орфей!..
Там Минос в тоске глубокой
Укрощает суд жестокой;
На власах Мегеры хладной
Змий смирился кровожадный,
Спит тяжелый звук цепей!..
Тронут песнею Орфея,
Вран покинул Прометея,
И Коцит, дотоле громкой,
Стих и вот струею звонкой
Вторит песнь твою, Орфей! —
О любви ты пел, Орфей!

Счастливы любовью боги, —
Не любовью ль
Мы равны богам?
С нею рай светлее, —
С нею мир подлунный
Небом светит нам.

Весь природы стройный храм
Ей возносит фимиами;
Мир — алтарь любви.
Из-за дальних синих гор
Не Дианы ль вижу взор? —

Нет! то взор любви.
Не богиня в вышине,
Улыбаясь, зрится мне;
Не светила в небесах
Блещут в радужных лучах:
Всё любовь — и *здесь* и *там*,
И природа светит нам
Взорами любви!..

Про любовь журчит ручей;
Быстрый ток любовь смиряет!
Запоет ли соловей?
Песнь любви любовь вдыхает.
Всё любовь, любовь одна
В звуках радости слышна!

Мудрость в солнечных лучах!
Пусть твой огонь горит в умах!
Уступи любви!
Пред любимцами молвы
Не склоняла ты главы —
Покорись любви!

Кто над сонмами светил
В вечность путь тебе открыл
Светлою стезею?
Кто, разрушив мглы покров,
Сквозь расселины гробов
Воссиял зарею?
Всё любви небесной взор
Храм бессмертья освещает,
И духов согласный хор
Ею к вышнему пылает.
Так любовь, любовь одна
Нам вождем к творцу дана!

Счастливы любовью боги, —
Не любовью ль
Мы равны богам?
С нею рай светлее, —
С нею мир подлунный
Небом светит нам!

Шевырев никогда не издавал своих стихотворений отдельной книгой. Стихотворения его, рассеянные по многочисленным журналам, альманахам, сборникам и газетам 20-х—60-х годов, а частично и вовсе не опубликованные, впервые собираются в нашем издании.

Самую ценную с историко-литературной и эстетической точки зрения часть творчества Шевырева составляют стихи 1825—1831 гг. Период этот открывается стихами, напечатанными в альманахе «Уrania», и кончается 1831 г., когда Шевырев вообще на многие годы перестал писать стихи. В своей автобиографии Шевырев особо отмечает альманах «Уrania», в котором «помещены первые его печатные стихотворения». ¹ Свидетельство это крайне неточно: Шевырев начал печататься с 1820 г.

Стихи, помещенные в «Урании», были не первыми печатными его стихотворениями, и его замечание означает лишь, что они явились не к о т о р о й г р а н ь ю в его поэтическом творчестве, что до них был лишь ученический подготовительный период его работы. В этом убеждает еще и следующее обстоятельство. В своей рецензии на «Собрание новых русских стихотворений» Шевырев указывает, между прочим, что он выбросил бы из антологии «жалкое «Человеколюбие» и аллегорию «Человек». ² Между тем, оба эти стихотворения являются его собственными произведениями 1823—1824 гг.

Стихи шестилетия 1825—1831 гг. в настоящем издании представлены наиболее полно. За бортом осталось лишь несколько произведений этого периода. Стремясь выделить этот важнейший период, мы отвели ему основную, первую часть издания.

Вторую часть текста составляют избранные стихи «позднего» (1839—1864) Шевырева. С 1831 по 1839 г. Шевырев стихов не писал; по крайней мере все, что печаталось им в эти годы, было написано им до 1831 г. (сомнение вызывает лишь одно стихотворение «Надежда-ангел», появившееся в «Современнике» в 1837 г. и не датированное). «Ранние» стихи Шевырева (1820—1825) даны приложением к стихам 1826—1864 гг.

При выборе текста редактор столкнулся с многочисленными перепечатками, вследствие чего в ряде случаев имеются две, три, четыре редакции. Иногда перепечатывал свои стихотворения сам Шевырев, недовольный первопечатным текстом. Безусловно следовать принципу последнего прижизненного издания в отношении журнальных и альманашных текстов было бы, конечно, совершенно неверно: стихи Шевырева перепечатывал в «Литературных Прибав-

¹ Словарь проф. Моск. унив., М., 1855, т. II, стр. 606.

² «Моск. Вестн.», 1827, ч. 6, стр. 443.

лениях к Русскому Иззалиду» А. Ф. Воейков. Эти стихи перепечатывались и в многочисленных альманахах, с которыми Шевырев не имел ничего общего. Мы искали поэтому в каждом таком случае наиболее авторитетный текст. При наличии переработок текста мы включали, как правило, последний вариант, приводя в комментарии важнейшие разночтения. Исключения из этого правила составляют немногочисленные случаи, когда Шевырев в 40-х годах возвращался к стихам 20-х годов, давая им цензурный вариант (стихотворение «Форум»), или отказывался от новаторских опытов (переводы 1-й и 3-й песен «Ада»).

Тексты стихотворений сверены, где было возможно, с рукописями. Индивидуальные особенности орфографии Шевырева сохранены.

Стихи Шевырева расположены в хронологическом порядке. В случаях, когда установить дату написания было невозможно, в основу датировки бралась дата напечатания.

Основной рукописный фонд Шевырева сохранился в Ленинграде — в рукописном отделении Государственной публичной библиотеки и в Архиве Института русской литературы Академии Наук. В Публичной библиотеке стихотворный материал находится не в самом архиве Шевырева, описанном в отчете ГПБ за 1892 г., а среди новых поступлений 1928 г. (нами условно обозначается «бум. пост. 1928 г.», заключающих:

1. Собрание автографов на 86 листах (нами условно обозначаются «автограф ГПБ» и далее — по номерам листов).

2. Тетрадь в кожаном переплете с двумя действиями трагедии «Ромул».

3. Поэму «Болель» (частично рукой дочери Шевырева — Е. С. Арсеньевой).

4. Пачку бумаг, относящихся к столкновению с гр. Бобринским (1857), с автографом стихотворения «Русское имя».

5. Томик дневника с 16 февраля 1829 г. по июль 1830 г. с тремя автографами стихотворений. Предшествуя описанным в отчете ГПБ за 1892 г. трем томам (I—III) дневника Шевырева, томик этот во избежание путаницы обозначается нами условно как «том пост. 1928 г.».

Кроме того, там же, в «Погодинском древлехранилище», под № 478 хранятся автографы стихотворения «Тапство дружбы» и перевода трагедии Шиллера «Валленштейнов лагерь», в альбоме Н. Гербеля имеется автограф «Романса Теклы (из Пикколомини)» и в письмах — автографы ряда мелких произведений.

В Архиве Института русской литературы автографы стихотворений Шевырева находятся:

1. В письмах Шевырева к М. И. Погодину (хранятся в Дашковском собрании) — автографы 21 стихотворения 1829—1831 гг.

2. В пачке бумаг «Письма» к Изд. Лит. Газеты и 2 стихотворения (Дашковское собрание) — автографы «Оды Горация последней», стихотворения «Вменяешь в грех ты мне мой темный стих» и двух стихотворений А. А. Прокоповичу-Антонскому.

3. В письме Шевырева к Ф. Б. Миллеру (см. по каталогу) — две эпиграммы.

Приношу благодарность за помощь в работе Ю. Н. Тынянову, И. А. Бычкову, И. Л. Андронникову, Т. И. Антонецу, В. Н. Орлову и С. А. Рейсеру.

С п и с о к с о к р а щ е н и й

- Авт. — Автограф.
 Альм. — Альманах.
 Арх. Ш. — Архив Шевырева.
 «В.Е.» — Вестник Европы.
 «Вед. Моск. Гор. Пол.» — Ведомости Московской Городской
 Полиции.
 «Гал.» — Галатей.
 ГПБ — Государственная публичная библиотека им. М. Е. Сал-
 тыкова-Щедрина.
 Дн. — Дневник.
 Д.С. — ИРЛИ — Дашковское Собрание — архив Института
 Русской Литературы Академии Наук.
 Ж. и Тр. Пог. — Н. Барсуков, Жизнь и труды М. П. По-
 година.
 Ж. М. Н. Пр. — Журнал Министерства Народного Просвеще-
 ния.
 Засед. обыкнов. — Заседание обыкновенное.
 «И.В.» — Исторический Вестник.
 «Лит. Газ.» — Литературная Газета.
 «Лит. Насл.» — Литературное Наследство.
 Лит. Приб. — «Литературные Прибавления к «Русскому Инва-
 лиду».
 «М. В.» — Московский Вестник.
 «М. Набл.» — Московский Наблюдатель.
 «Москв.» — Москвитянин.
 «М. Тел.» — Московский Телеграф.
 «О. В.» — Одесский Вестник.
 «О. З.» — Отечественные Записки.
 ОЛРС — Общество Любителей Российской Словесности при
 Московском Университете.
 П. и его совр. — Пушкин и его современники.
 П., Переписка, — имеется в виду, где особо не оговорено, —
 Пушкин, Переписка, изд. Академии Наук.
 «Р. А.» — Русский Архив.
 «Р. В.» — Русский Вестник.
 «Р. Ст.» — Русская Старина.
 «С. А.» — Северный Архив.
 Сб. — Сборник.
 «Сев. Лира» — Северная Лира.
 «Сев. Пчела» — Северная Пчела.
 «Сев. Цветы» — Северные Цветы.
 СМУ — Биографический словарь профессоров Московского
 Университета.
 «Совр.» — Современник.
 «СПБ. Вед.» — СПб. Ведомости.
 «Ст. и Нов.» — Старина и Новизна.
 «Сын Отеч.» — Сын Отечества.
 «Тел.» — Телескоп.
 Том пост. — том поступления.
 Тр. ОЛРС — Сочинения в стихах и прозе. Труды Общества
 Любителей Российской Словесности.
 Ш. — Шевырев.

СТИХОТВОРЕНИЯ

(1825—1831)

Я е с м ь. Альм. «Уrania» на 1826 г., М., стр. 84—87. «Я есмь» обратило на себя внимание Баратынского и Пушкина (см. П., Переписка, т. I, стр. 316 сл.; см. также Ж. М. Н. Пр., 1869, январь, стр. 403, и СМУ, т. II, стр. 606).

С и л а д у х а Тр. ОЛРС, ч. 6, М., 1826, стр. 224—225. Датируется началом 1825 г., так как уже 9 марта стихотворение читалось в ОЛРС (Протокол 75-го засед. обыкнов., там же, стр. 280).

В о д е в и л ь и Е л е г и я. «В. Е.», 1825, март, стр. 1—14, за подписью «С. Ш.».

М о й и д е а л. Альм «Уrania» на 1826 г., стр. 12, откуда перепечатано в альм. «Эвтерпа», М., 1831, стр. 56—57, без заглавия и с разночтением в последнем стихе:

Но душу я люблю твою.

Мы считаем текст «Уrania» более авторитетным, так как альм. вышел под непосредственным наблюдением Ш. (см. Ж. М. Н. Пр., 1869, январь, стр. 400).

К А г а т о н у (Из Матиссона). Альм. «Уrania» на 1826 г., стр. 72—93. Является переводом стихотворения «An Agathon» Фридриха Матиссона (Matthisson, 1761—1831).

Л и л и я и Р о з а (Вальбом Т. Е. Е.—ой). Альм. «Сев. Цветы» на 1826 г., стр. 118—120. Раскрыть инициалы обращения нам не удалось.

В е ч е р (Из Шиллера). Альм. «Сев. Цветы» на 1826 г., стр. 90. Является переводом стихотворения Шиллера «Der Abend (Nach einem Gemälde)». Стихи:

Зри, кто из моря в волны кристальны
С милой улыбкой друга манит! —

имеют в виду богиню моря Фетиду, или Тетис, — супругу Океана, которая в «Метаморфозах» Овидия заключает возвратившегося на своей колеснице Феба в свои объятия.

К а и н. Альм. «Альбом Северных Муз» на 1828 г., стр. 251, с датой: «1825. Москва». Рукопись — авт. ГПБ, № 53.

Будучи напечатан в момент острой полемики с Ф. Булгариным, «Каин» вызвал резкое выступление «Сев. Пчелы» (1828, № 52, 4 мая).

Первый вечер по изгнании Адама. Тр. ОЛРС, ч. 7, М., 1828, стр. 151—153, а также «Атеней», 1828, ч. 2, № 6, стр. 147—148, откуда перепечатано в Лит. Приб., 1833, № 34, стр. 29—30. Черновая рукопись под названием «Первый сон Адама» — авт. ГПБ, № 45. Печатается по тексту «Атеней».

Судя по рукописи, стихотворение было написано в 1825 г., затем, в конце 1827 или в начале 1828 г. Ш. вернулся к нему и, переработав, прочел в ОЛРС. Возможно, что в Тр. ОЛРС воспроизведен прочитанный текст. Затем, может быть под влиянием обсуждения стихотворения или сделанных замечаний, Ш. снова перерабатывает его и помещает в журнале «Атеней», издававшемся известным шеллингианцем проф. М. Г. Павловым. Именно в этом ходе работы Ш. убеждает и сопоставление дат: стихотворение читалось на заседании ОЛРС 27 февраля 1828 г. под заглавием «Первый вечер по изгнании из рая» (Протокол 84-го засед. обыкнов. — Тр. ОЛРС, ч. 7, М., 1828, стр. 239), цензурная помета 2-й ч. «Атеней», где помещено стихотворение, — 6 марта, а помета председателя ОЛРС на 7-й ч. «Трудов» — 5 июля 1828 г. Издание «Трудов» было непериодическим и, судя по протоколам, в начале года не предполагалось. Текст «Атеней» является, таким образом, последней редакцией стихотворения. Разночтений не приводим.

Г л а г о л п р и р о д ы. Печатается впервые, по беловой рукописи (авт. ГПБ № 84). На бумаге водяной знак 1825 г. Отсюда и дата стихотворения.

П о р т р е т ы ж и в о п и с ц е в. Извлечено из перевода книги В.-Г. Ваккенродера «Об искусстве и художниках. Размышления отшельника, любителя изящного», М., 1826 (стр. 199—202), 2-е изд., М., 1914. Перевод был выполнен Ш. совместно с В. П. Титовым и Н. А. Мельгуновым, причем переводчики подписали своими инициалами переведенные ими части книги. В своей автобиографии (СМУ, стр. 606) Ш. относит переводы к 1825 г., но, повидимому, часть их относится к началу 1826 г.

Вильгельм-Генрих Ваккенродер (1773—1798), ближайший друг Тика, явился идеологом раннего немецкого романтизма, и книга его сыграла значительную роль в формировании эстетических взглядов русских «любомудров».

«О Цецилия святая!» Из повести «Музыкальная жизнь художника Иосифа Берлингера» той же книги Ваккенродера (стр. 226). Герой повести Иосиф Берлингер, воплотивший целый ряд автобиографических черт Ваккенродера, чувствуя свое назначение стать великим музыкантом, изливал свои чувства в небольших стихотворениях, «выражавших или состояние души его, или похвалу музыке» (стр. 225). «О Цецилия святая» и является таким стихотворением.

«О, не знаю, что меня стесняет». Из той же повести Ваккенродера (стр. 228). Иосиф Берлингер, вопреки воле отца, обучающего его врачебной науке, мечтает бежать из дома, чтобы всецело отдаться музыке, к которой увлекает его внутренняя склонность. Душевный разлад героя и должно изобразить стихотворение, переведенное Ш.

«Тихий трепстожиданья». Из той же книги Ваккенродера (стр. 256—257), где стихотворение приведено в «Восточном сказании о силе музыки».

Две чаши. Альм. С. Е. Раича и Д. П. Ознобишина «Сев. Лира» на 1827 г., стр. 53—54.

Создание красавицы. Там же, стр. 78—81.

Прекрасный цвет (Песнь заключенного рыцаря). Альм. «Сев. Лира» на 1827 г., стр. 163—168. Является переводом стихотворения Гете «Das Blümlein wunderschön (Lied des gefangenen Grafen)».

Четыре века (Из Шиллера). «М. В.», 1827, ч. 1, стр. 164—166. Является переводом стихотворения Шиллера «Die vier Weltalter». К стиху:

Но труд возник: вызывают на бой...

имеется сноска: «Нужна ли такая перемена метра? П[огодин]». Ритмическое новаторство Ш. в данном случае целиком опиралось на немецкий тонический стих.

Соответствующий стих у Шиллера читается:

Drauf kam die Arbeit, der Kampf begann...

О принципиальности этого стиха Ш. помнил долго. «О последнем (амфибрахии) у меня родились мысли, в коих я совершенно опроверг твое замечание о перемене метра (помнишь ли?) в моем переводе из Шиллера» — писал он Погодину 28 апреля 1830 г. (Д. С. — ИРЛИ).

Сон. «М. В.», 1827, ч. 1, стр. 249—250, без подписи.

Беспрдельность (Из Шиллера). «М. В.», 1827, ч. 3, стр. 314—315 (ср. П. и его совр., в. 17—18, 1914, стр. 268). Является переводом стихотворения Шиллера «Die Grösse der Welt».

К старцу. «М. В.», 1827, ч. 4, стр. 226, без подписи. Рукопись беловая — авт. ГПБ, № 48.

Четыре новоселья (На новоселье И. В. Киреевскому). «М. В.», 1827, ч. 5, стр. 117—121.

Звукн. Печатается впервые по беловой рукописи (авт. ГПБ, № 51). Отнесено нами приблизительно к 1827 г., так как стихи подобного настроения у Ш. позже не встречаются.

Ошибка (М. Д. Х—ой). «М. В.», 1827, ч. 5, стр. 370—371, без подписи. В оглавлении обозначено как стихи Ш. В своей автобиографии Ш. указал, что в «М. В.» целый ряд его стихотворений — оригинальных и переводных — не подписан его именем (СМУ, т. II, стр. 606). М. Д. Х—а, повидимому, Мария Дмитриевна Ховрина (1801—1877).

Гулянье (Отрывок из послания к N. N.). «М. В.», 1827, ч. 6, стр. 127—130, за подписью: «—ъ». В оглавлении приписано Ш.

[Украинская песня]. Извлечено из рецензии Ш. на «Малороссийские песни», изданные М. Максимовичем (М., 1827), —

«М. В.», 1827, ч. 6, стр. 316—317. Является переводом народной украинской песни

По-над морем, Дунаем,
Ветер явор хитае...

(Малороссийские песни, изд. М. Максимовичем, М., 1827, стр. 14—15).

Елена. Орывок из междудействия к *Фаусту*. «М. В.», 1827, ч. 6, стр. 3—8. В том же номере (стр. 79—93) помещен критический анализ этого произведения Гете, наделавший в России много шума и вызвавший отклик Гете. Подробнее об этом см. С. Дурылин, «Русские писатели у Гете», глава «С. П. Шевырев и Гете», стр. 456 и сл.

Журналист и злой дух. «М. В.», 1827, ч. 6, стр. 500—509, со следующим примечанием Погодина: «С величайшим удовольствием помещаю я сие стихотворение. Пусть будет оно эпилогом к «Московскому Вестнику» на 1827 год и прологом на 1828-ой. Мне остается пожелать, чтоб мысли и чувствования идеального журналиста, здесь изображенного, одушевляли меня и моих собратьев» (там же, стр. 500). Заключительный отрывок стихотворения (начиная со слов «О мудрый ангел слова!») печатался в качестве эпиграфа к критическому отделу «Гал.» в 1840 г. В «Сев. Пчеле» (1828, № 37 от 27 марта), в связи с выступлением Ш. против Булгарина в «Обзрении русской словесности за 1827 год» («М. В.», 1828, ч. 7), был помещен враждебный разбор этого стихотворения.

Мысль. «М. В.», 1828, ч. 8, стр. 357—358. Ф. Булгарин посвятил «Мысли» разгромный разбор («Сев. Пчела», 1828, № 58, 15 мая).

В то же время Пушкин в письме к Погодину оценил «Мысль» как «одно из замечательнейших стихотворений текущей словесности». На защиту «Мысли» Шевырева выступал и И. А. Крылов (см. Переписка А. Пушкина, II, стр. 66—67). Возможно, что ответом на нападение Булгарина на «Мысль» Шевырева была басня Крылова «Бритва».

Мудрость. «М. В.», 1828, ч. 12, стр. 18—19. Датируется не позже начала 1828 г. Стихотворение читалось на заседании ОЛРС 27 февраля 1828 г. под названием «К науке» (см. протокол 84-го засед. обыкнов. Тр. ОЛРС, ч. 7, М., 1828, стр. 239) и было напечатано под заглавием «Просвещение» (там же, стр. 159—160), с некоторыми разночтениями от печатаемого текста.

Судя по цензурным пометкам, текст «М. В.» представляет собою последнюю редакцию стихотворения.

Русская разбойничья песня. «М. В.», 1828, ч. 9, стр. 119—123, за подписью «С. Ш.».

Стансы. Альм. «Венера, или Собрание стихотворений разных авторов», М., 1831, ч. 2, стр. 34—35. Относится нами приблизительно к 1828 г., так как написано, повидимому, до поездки в Италию.

Цыганская пляска. «М. В.», 1828, ч. 10, стр. 318, без подписи, откуда и воспроизводится как авторизованный текст. С подписью «Шевырев» напечатано в альм. «Эвтерпа», М., 1831, стр. 111, под ошибочным заглавием «Цыганская песня». Стихотворение одно время приписывалось Пушкину («Совр.», 1862, январь, стр. 349—350, и «Р. А.», 1876, № 10, стр. 205).

В 1828—1829 гг. Шевырев мечтал написать оперу «Цыганы». В 1829 г. он писал Погодину из Италии: «У меня есть мысль еще написать оперу — Цыганы. Сюжет другой, а не Пушкинский. Но для этого надо много материалов. Если хочет Верстовский ее, то да познакомится он с цыганами и да пришлет мне все, что он вызнает из них сказочного, религиозного, все поверья, гаданья, песни и прочее» (Д.С. — ИРЛИ).

Цыганка. «М. В.», 1828, ч. 10, стр. 319, без подписи, откуда и воспроизводится. С подписью «Шевырев» было напечатано в альм. «Весенние Цветы», М., 1835, стр. 81—82. В 60-х годах приписывалось Пушкину («Совр.», 1862, январь, стр. 350). Цыгане долгое время считались потомками египтян; отсюда и обращение — «к египтянке».

Цыганская песня. «М. В.», 1828, ч. 10, стр. 320, без подписи, откуда и воспроизводится. С подписью «Ш-в-р-в» перепечатано в альм. «Эвтерпа», М., 1831, стр. 145—146, и без подписи в альм. «Венок Граций», М., 1838, стр. 81—82.

Лотос (с италианского). «М. В.», 1828, ч. 10, стр. 6—7. Является переводом стихотворения гр. Риччи, флорентинца по происхождению, в 20-х годах жившего в Москве, где он пользовался известностью как певец, автор многочисленных французских романсов и составитель «Русской Антологии» на итальянском языке. Он посещал салон З. А. Волконской в 1824—1828 гг., где часто пел в домашних операх, устраивавшихся З. А. Волконской («Р. А.», 1887, кн. 2, стр. 178—179; 1898, кн. 2, стр. 315; 1901, кн. 4, стр. 48). В этом салоне, повидимому, Ш. и познакомился с ним. В 1829 г. мы встречаем Риччи уже в Риме — в окружении той же кн. З. А. Волконской, о чем встречаются упоминания в письмах Ш. к Погодину (Д. С. — ИРЛИ). «Русская Антология» гр. Риччи в свет не выходила (ср. П. Драганов, «Пушкин в переводах» — «И. В.», 1899, май, стр. 649). Стихотворение «Лотос», в оригинале, несмотря на розыски, нам осталось неизвестно.

Таинство дружбы. «М. В.», 1829, ч. 1, стр. 109—110. Рукопись беловая, с пометой: «[для 19-го] № Вестника». Авт. Погодинского древлехранилища, № 478, ГПБ. В рукописи снабжено подзаголовком: «Будущему другу».

Датируется 2 октября 1828 г. на основании записи в дневнике Погодина: «Огорчил Шевырев своими подозрениями. Я не верю и верить не хочу, чтоб ничего не осталось от Вестника. После ввечеру прислал мне стихи о ране» (Ж. и Тр. Пог., т. II, стр. 179). В этой же дате убеждает и пометка на рукописи, предназначав-

шая «Таинство дружбы» для № 19 «Вестника» (цензурная помета которого — 27 октября 1828 г.).

Осенью 1827 г. отношения между Погодиным и сотрудниками «М. В.» были крайне обострены на почве расчетов по журналу, вследствие чего часто возникали столкновения (см. «Лит. Насл.», № 16—18, 1934, стр. 681 и 740—741; С. Гессен, «Книгоиздатель Александр Пушкин», Academia, Л., 1930, стр. 78—79, и многочисленные записи в неопубликованном дневнике Погодина. Библ. им. Ленина, Москва).

«Таинство дружбы» вызвало враждебный отзыв Булгарина («Сын Отеч» и «С. А.», 1829, т. I, № 3, стр. 180).

На новоселье Р[аи]чу (Экспромт). «Русск. Зритель», 1828, № 11—12, стр. 192, за подписью «Ш.» «Русск. Зритель» издавался, как известно, Погодиным, Шевыревым, Томашевским и др. в пользу К. Ф. Калайдовича, заболевшего психическим расстройством в 1828 г. «Новоселье» С. Е. Раича — повидимому переезд его на Петровку, в дом Решетникова. Собираясь жениться, Раич покинул дом, в котором жил в качестве воспитателя, и стал обзаводиться собственным хозяйством («Русск. Библиофил», 1913, № 8, стр. 29—30).

В альбом В. С. Т[опорнин]ой. «Гал.», 1829, ч. 3, стр. 249—252. Относится к двоюродной сестре поэта Варваре Степановне Топорниной (впоследствии по мужу Богдановой), с которой Ш. долгие годы поддерживал дружеские отношения. Датируется январем 1829 г., когда Ш. перед отъездом в Италию совершил поездку в Саратовскую губернию, чтобы проститься с родными. «За стихи также приношу вам мою благодарность» — писала В. С. Топорнина Ш. в Москву в конце января или начале февраля 1829 г. (Письма В. С. Богдановой к Ш. Арх. Ш., ГПБ). Стилистический строй стихотворения вызвал резко отрицательный отзыв И. Дмитриева (см. «Ст. и Нов.», кн. 12, М., 1907, стр. 331—332, и кн. 2, СПб., 1898, стр. 163).

Партизанке классицизма. Альм. «Подснежник», СПб., 1829, стр. 167—169. Написано между 16 и 28 февраля, во время пребывания Шевырева в Петербурге, проездом в Италию. Относится к гр. А. И. Лаваль. «Другая (дочь гр. Лаваль) Александра говорила князю Волкон[скому], что я теперь очень люблю петь кровь и раны в стихах моих (сиречь в стихах на смерть императриц)¹ и в Таинстве дружбы». На это я исподтишка отвечаю ей стихами, которые ты прочтешь в Подснежнике» (Письмо Ш. к Погодину из Петербурга 25 февраля 1829 г. Д. С. — ИРЛИ).

Гр. Лаваль, Александра Ивановна (1811—1886), впоследствии графиня Коссаковская, жена церемониймейстера, сенатора и председателя Герольдии Царства Польского, писателя и художника С. О. Коссаковского (1795—1872).

Два духа. «Гал.», 1829, ч. 4, стр. 303—305, под заглавием: «Бессмертие». Повидимому, заглавие придумано в Москве, может

¹ Речь идет об оде («М. В.», 1828, XII и XXIII—XXIV, стр. 193, и отдельно — М., 1828) на смерть императрицы Марии Федоровны (ум. в 1828).

быть — из цензурных соображений. В своих письмах Ш. называет стихотворение «Два духа». «Что вы сделали из пиэсы моей (Два духа), посланной из Берлина?» — спрашивает он Погодина 21/9 июля 1829 г. (Письмо к Погодину. Д. С. — ИРЛИ). «Два духа» напечатаны в Галатее очень хорошо» — ответил ему Погодин 11 сентября (Письмо Погодина к Ш. Арх. Ш., ГПБ). Переписка эта позволяет восстановить подлинное заглавие стихотворения. Упоминание «о войне», истребляющей «живое племя» на юге, — относится к Русско-турецкой войне 1829 г., а «сильный Мир и многоплодная Свобода» на севере — должны изобразить Россию. «Два духа» открывает серию стихов Ш. о назначении России (ср. далее «К непригожей матери», «Петроград» и др.), выражавших сначала еще очень темно и неясно его славянофильские взгляды.

Н о ч ь. «Гал.», 1829, ч. 9, стр. 371—373. Датируется летом, вероятно, июнем 1829 г. Повидимому, именно это стихотворение имел Ш. в виду, когда писал Погодину 22 июня: «Посылаю пиэсу — невольное следствие письма твоего. — Она вам, друзья, и посвящается» (там же). Долго не узнавая о судьбе «Ночи», Ш. беспокоился и думал о цензурных трудностях. «Ночь, если и можно напечатать, то лучше без имени, ибо некоторые выражения не годятся цензурно» (Письмо 24 ноября/6 декабря 1829 г.).

П е с н я Г р е м и с л а в ы. Альм. «Денница» на 1830 г., стр. 254—256, откуда перепечатано в альм. «Венера», М., 1831, ч. 2, стр. 39—42. Является отрывком из либретто к опере «Вадим», написанной Ш. по балладе В. А. Жуковского для А. Н. Верстовского во время путешествия в Италию.

О «Песне Гремиславы» Ш. писал Погодину: «Да скажи Верстовскому: мне кажется, что песенка Гремиславы очень длинна — и потому лучше начать ее со второго refrain: Участь моя горькая и потом: страшные, запретные» (Письмо без даты, датируется нами между 12 и 29 августа 1829 г. Д. С. — ИРЛИ).

Опера «Вадим, или Пробуждение 12 спящих дев» (музыка А. Н. Верстовского) в печати не появлялась, кроме двух арий «Песнь Гремиславы» (М., 1833) и «Идет, идет обетованный. Песня сторожевой девы из оперы Вадим» (без года). Она ставилась впервые в Москве 25 сентября 1832 г. на сцене Петровского театра и имела большой успех. Либретто, однако, было переделано до неузнаваемости, и Ш. печатно отказался от него, изложив обстоятельства его создания и переделок («Молва», 1832, № 83, стр. 332), и даже не пошел на премьеру (ср. письмо Погодина, «Р. А.», 1882, т. III, стр. 201 сл., и записку Ш. Ж. и Тр. Пог., в. 4, 92).

Материалы по истории этой оперы (не использованные здесь) находятся в дневнике Ш. за 1829—1830 гг. (том пост. 1928 г. и т. I), в письмах к Погодину (Д. С. — ИРЛИ), в письмах Погодина к Ш. (Арх. Ш., ГПБ; большей частью опублик. «Р. А.», 1882, т. III, и 1883, т. I) и в письмах С. Т. Аксакова к Ш. (Арх. Ш. — частично опублик. «Р. А.», 1878, т. II).

К не п р и г о ж е й м а т е р и. «Тел.», 1831, ч. 2, стр. 49—52, под заглавием: «Непригожей матери». Рукописи: Дн. Ш. (том пост. 1928 г.) и в письме к Погодину от 21/9 июля 1821 г. (Д. С. — ИРЛИ) — обе с незначительными разночтениями. Стилистическая поправка

в письме к Погодину 22 декабря 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ). Первоначально было озаглавлено «К дурной матери», причем на рукописи, посланной Погодину, Погодин расшифровал: «(т. е. к России, дурной собою)». Исправление — в письме к Погодину без даты; так как с этим письмом к Погодину послано стихотворение «Петроград», то дата устанавливается по дневнику: 17 сентября (Д. С. — ИРЛИ).

Относится к России и выражает ранние славянофильские чаяния об особой исторической миссии России.

Петроград. «М. В.», 1830, ч. 1, № 1, стр. 3—6. Уточнение даты по дневнику: «Я написал Петербург» — запись 9 августа 1829 г. (Дн., том пост. 1928 г., ГПБ). Рукописи: Дн., том пост. 1928 г., ГПБ, и в письме к Погодину от 17 сентября (Д. С. — ИРЛИ — письмо без даты; дата отправления письма устанавливается по дневнику). Вторая рукопись снабжает стихи:

По спяющим устам
Пена белая кипела...

примечанием: «Эти два стиха, милый друг, взяты из природы. Мелких вариантов и разночтений не приводим.

В «Петрограде» отразилась ранняя славянофильская концепция значения Петровской реформы.

«Петроград», имевший в Москве крупный успех, был, повидимому, использован Пушкиным для вступления к «Медному Всаднику». См. подробнее в моей ст. («Временник», ИРЛИ, 1937, № 2) «Пушкин и Шевырев. К истории отношений, личных и литературных».

Очи. «Тел.», 1831, ч. 4, стр. 191—192. Авт. в письме к Погодину от 6 декабря — 24 ноября 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ), с пометкой: «Кастелламаре, в окрест[остях] Неаполя, сентября 2. День впечатления, а не день стихов».

Датируется, таким образом, сентябрем — ноябрем 1829 г.

В рукописи после стиха 28-го следует 8 стихов, исключенных при печатании по совету Погодина (см. письмо Погодина к Ш. от 27 января 1830 г. — Арх. Ш., ГПБ, и ответ Шевырева — письмо к Погодину в марте 1830 г. Д. С. — ИРЛИ). Приводим эти стихи:

Скажу одно: старик Плутон
Таким огнем, в мученьях правых,
Карает мстительных, лукавых,
Самолюбивых, хитрых жец.
Он с их очей тот огонь собирает,
На них же он его хранит;
Но все напрасно разжигает
Из сердца холодного гранит.

Пометка на рукописи о дате «впечатления» позволяет связать «Очи» с не вполне ясными записями дневника о столкновении с С. Г. Волконской.

Софья Григорьевна Волконская (1800—1868), сестра декабриста С. Г. Волконского и жена министра двора кн. П. М. Волконского, отличалась эксцентричностью и исключительной скупостью, о которых рассказывает М. Д. Бутурлин в своих воспоминаниях («Р. А.», 1901, кн. III, стр. 419—420). Вероятно, на почве ее эксцентричности и произошло ее столкновение с Шевыревым.

Ж е н щ и н е «Тел.», 1831, ч. 5, стр. 369. Авт. в письме к Погодину от 6 декабря — 24 ноября 1829 г (Д. С. — ИРЛИ). По содержанию примыкает к предыдущему стихотворению. Шевырев определил стихотворение как «эпилог» к «Очам».

Т я ж е л ы й п о э т «М. В.», 1830, ч. 4, стр. 7, под заглавием: «Поэт». Авт. в письме к Погодину от 6 декабря — 24 ноября 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ), что определяет и датировку. Поправки — в письмах от 11 января и 6 марта 1830 г. Рукопись озаглавлена: «Тяжелый, свинцовый поэт, или как хочешь назови». Журнальное заглавие вызвало сильное недовольство Ш.: «Как мне досадно, что ты назвал мою эпигр[амму] к а к г у с ь — поэтом. Я тебе писал: тяжелый или свинцовый поэт. Пушкин, Веневит[инов], Хомяк[ов] написали по поэту: всякой себе. Что же ты меня в тяжелые причесь. Это вовсе не мой идеал поэта, а эпиграмма. Если бы у нас был член, то я бы сказал un Poëte, а так как нет члена, то нужен был эпитет. Когда печатаешь мои стихи, проси Языкова заглянуть в корректуру или Хомякова» (Письмо к Погодину 23 ноября 1830 г. Д. С. — ИРЛИ).

«Тяжелый поэт» — эпиграмма, смысл которой раскрывается припиской в письме к Погодину при посылке рукописи: «Как бы Вяземский не принял этого на свой счет; потому лучше не подписывать моего имени, а я в виду имел и (и <е?>) его и (а?) всякого. . . (неразобр. слово)» Приписка сделана по самому краю листа, местами оборванного, — отсюда неясность прочтения.

П р е о б р а ж е н и е. «М. В.», 1830, ч. 1, стр. 126—130, откуда было перепечатано в Лит. Приб., 1835, № 94. Рукопись — в том же письме к Погодину от 6 декабря (24 ноября ст. ст.) 1829 г с двумя примечаниями, разъясняющими отдельные стихи. Против стихов:

Он означил, как стопамп
Бог раздвинул свет и тьму;
Как повесил над звездами
В небе солнце и луну...

на полях отмечено: «Ложи Рафаэля».

Против стихов:

Сонмы их изобразил
И в среде их образ Девы
Кистью быстрой уловил...

есть отметка: «Мадонна».

«Преображение» читалось в Москве в ОЛРС 23 декабря 1829 г. (вместе с «Петроградом») и имело большой успех.

Т и б р. «М. В.», 1830, ч. 2, стр. 311—314, под заглавием: «Тибр (Песня)». Авт. в письме к Погодину без даты, но с пометкой: «Письмо пойдет в субботу дек. 12 (1829 г.)», озаглавлен: «Тибр или песня (как хочешь)» (Д. С. — ИРЛИ). Сохраняем журнальное заглавие, как не вызвавшее возражений Ш. Датируется, очевидно, 8—10 декабря 1829 г. на основании приписки на рукописи.

Ряд исправлений рукописного текста дан в последующих письмах (22 декабря 1829, 11 января, 11 февраля 1830 г. Д. С. — ИРЛИ).

В Москве «Тибр» был встречен очень сочувственно. Отзыв Погодина — см. его письмо к Ш. от 27 января 1830 г. Отзыв кн. П. А. Вяземского — «Лит. Насл.», № 16—18, 1934, стр. 745.

Храм Пестума. «М. В.», 1830, ч. 3, стр. 193—194. Авт. в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ), со следующим примечанием: «Об нем (храме Пестума) будет тебе особая статья, но на всякий случай прибавь в замечании, что храм Пестумской стоит среди степи болотной, где, кроме буйволов, людей желтых, страдающих от водяной, тарантулов, скорпионов и изредка наезжающих путешественников, нет никого. Он в одном месте равбит громом». Печатаемая стихи, Погодин сделал примечание, почти дословно воспроизводящее этот текст (Письмо к Погодину от 6 марта 1830 г. Д. С. — ИРЛИ). Напечатанный неисправно, «Храм Пестума» вызвал новую реплику Ш.: «Не стыдно ли изуродовать мою пиэсу Храм Пестума? — Вместо «Здесь в степи больной» напечатано «большой» (ведь примечание объяснило тебе мой эпитет, а «большой» — проза, проза (II), вместо «гладно» камень твой точил — напечат[ано] гладко»: о ужас! Да храм Пестум[ской] вовсе не гладок; напротив: камень весь точно выточен червями — посему-то и гладно точил» (Письмо к Погодину от 23 ноября 1830 г. Д. С. — ИРЛИ).

Храм Нептуна (в Пестуме) в окрестностях Салерно Ш. посетил вместе с кн. З. А. Волконской и ее сыном 30 августа 1829 г. Запись в дневнике в день посещения храма раскрывает основную идею стихотворения. «Вос[кресенье] 30 августа]. Утром в 4 часа мы поехали в Пестум. . . Ужасная пустыня. — Народ больной, желтой. — Воды нет. — Водяная. — Мы, позавтра[нав] под дождем, отправились в храм. . . *Неужто судьба заботится об учении человека? Невольно подумаешь, что так, когда увидишь эти храмы первого водчества совершенно посреди развалин города, исчезнувшего с лица земли. . .*» (Дн., том пост. 1828 г. Арх. Ш., ГПБ). Нетрудно увидеть в этой записи основную идею «Храма Пестума» — излюбленную тему Ш. о бессмертии человеческой идеи, мысли, творческого содания (ср. «Мысль» и мн. др.).

К Р и м у. «М. В.», 1830, ч. 4, стр. 335. Рукопись сохранилась только кусками — в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ).

Стансы Р и м у. «Тел.», 1831, № 2, стр. 179—180. — Авт. с вырванной частью текста — в письме к Погодину от 22 декабря 1829 г. (Д. С. — ИРЛИ). Испорченная рукопись не дает возможности восстановить цензурный пропуск (15 и 16 стихи); сохранились их концы:

..... малых змей —
..... на части

Стансы вызвали послание Трилунного «Рим (К Шевыреву)» («Тел.», 1831, ч. 4, стр. 444—447) и пародию Картофелина (Н. Полевого) «Рим» («М. Тел.», 1832, апрель, № 7, Камер-обскура, № 7), которую использовал В. Белинский в статье «Педант» (ср. Ж. и Тр. Пог., VI, 262). Впрочем, оба стихотворения в своем отношении к творчеству Ш. не ограничиваются одними «Стансами Риму»; в стихах Трилунного есть намеки на октавы Ш. (самое послание тоже написано октавами), а в пародии Полевого есть полемические выпады против положений, высказанных Ш. в «Послании к А. С. Пушкину» (ср. «Мнимая поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв.», под ред. Ю. Тынянова. М.—Л., 1931, стр. 260—261 и 429).

С т е н ы Р и м а. «М. В.», 1830, ч. 4, стр. 109. Рукопись на внутренней стороне конверта, в котором послано письмо к Погодину, № 17 (вторая половина которого датирована 22 марта 1830 г. Д. С. — ИРЛИ). Другая рукопись — в дневнике среди выписок при чтении (том пост. 1928 г., ГПБ).

«Стены Рима» внушают благоговение», — отозвался на стихи Погодин («Р. А.», 1882, кн. 3, стр. 149). Датируются приблизительно концом 1829 или началом 1830 г. «Теперь у меня пошла Муза подбирать впечатления римские и вообще италийские, и всё льются стихи» (Письмо к Погодину 22 декабря 1829 г. Д. С. — ИРЛИ).

Д в е р е к и. Альм. «Альциона» на 1832 г., стр. 89—92, за подписью: «С. Ш.». Рукопись — в письме к Погодину от 11 января 1830 г., с просьбой напечатать анонимно. Стилистическая поправка — в письме к нему же от 6 марта 1830 г. (Д. С. — ИРЛИ). В основу текста положена рукопись. В альманашной редакции находим некоторые разночтения.

Переписка с Погодиным, дневник и письма тетки поэта М. А. Топорниной позволяют вскрыть автобиографическое значение этого стихотворения. «Две реки» являются памятником неудачного романа Ш. с его двоюродной сестрою Натальей Степановной Топорниной (впоследствии, с 1833 г., женой товарища Ш. по Московскому Университетскому Пансиону — саратовского помещика Николая Ивановича Митракова). Завязка этого романа относится, вероятно, к 1827 г., когда Ш. провел в кругу родных в Саратовской губернии более полугода. Во всяком случае, в январе 1829 г., когда Ш. ездил в Саратовскую губ. прощаться с матерью и родными, в том числе и с семейством своей тетки Марии Александровны Топорниной, сестры его матери, последняя уже знала о его любви; вероятно, с ней были даже разговоры, окончившиеся неблагоприятно для Ш., так как по правилам православной церкви брак близких родственников был запрещен. К роману с Н. С. Топорниной относится ряд анонимных произведений Ш.

(П е д а н т а м - и з ы с к а т е л я м). Альм. «Сиротка» на 1831 г., стр. 85—86. Заглавие, повидимому, принадлежит Погодину. Рукопись без заглавия, — в письме к нему, № 14, от 11 февраля 1830 г. (Д. С. — ИРЛИ), с пояснением, позволяющим датировать стихотворение 10 февраля 1830 г.

В а л ь б о м... «Молодик» на 1843 г., украинский литературный сборник, изд. И. Бецким, ч. 1, Харьков, 1843, стр. 268—269.

Стих «На торжество в Рим древний притекли» имеет в виду, видимо, карнавал в Риме 1830 г. (см. «М. В.», 1830, ч. 2, стр. 361), что позволяет датировать стихотворение приблизительно февралем 1830 г. Вероятно, стихотворение написано в альбом кн. З. А. Волконской.

Ф о р у м. Печатается по рукописи (авт. ГПБ, л. 63 об.); в этой редакции в печати не появлялось. В 1843 г. опубликовано Ш. под заглавием «Римский Форум», с датой: «1830. Рим» в сборнике «Молодик» на 1843 г., стр. 104, где дан цензурный вариант текста. Приведем важнейшие разночтения печатного текста:

Ст. 2: Вещий форум пал во прах,
Ст. 10: Кой-где сирые столбы

Датируется апрелем — июлем 1830 г. — периодом работы над «Посланием к Пушкину», так как на том же листе помещается эпиграмма на «Русскую Историю» Полевого, вошедшая в «Послание к Пушкину».

«О н все концы земли извед ал». Печатается впервые по рукописи (авт. ГПБ, № 63 об.). Вероятно, относится к другу Ш. С. А. Соболевскому, в 1830 г. путешествовавшему по Европе. С. А. Соболевский славился как гастроном. См. Письма С. А. Соболевского к Ш. («Р. А.», 1909, № 7, стр. 475—511). Возможно, является ответом на «Послание к С. П. Шевыреву», написанное Соболевским от имени Н. М. Рожалина («Р. А.», 1906, № 1, стр. 176).

К Ф е б у. Альм. «Сев. Цветы» на 1831 г., стр. 67. Датируется, как и следующие четыре стихотворения, летом 1830 г.

Ч т е н и е Д а н т а. Альм. «Сев. Цветы» на 1831 г., стр. 7. В рецензии «Тел.» на альм. «Сев. Цветы» читаем: «Шевырева — Чтение Данта — отливающее глубиной мысли, искупает странную мелкоту нескольких других стихотворений, под коими не хотелось бы читать его имени» («Тел.», 1831, ч. 1, стр. 230—231).

Т р о й с т в о. Альм. «Сев. Цветы» на 1831 г., стр. 101. Гомер, Данте и Шекспир надолго оставались важнейшими, любимейшими поэтами Ш. «У нас в Университете со временем должны быть непременно три особенные кафедры для толкования в оригинале Гомера, Данта и Шекспира» — записал он в дневник 29 января 1831 г. (Дн., т. I, л. 54), и впоследствии, став профессором Московского университета, он в 40-х годах каждый второй год читал курс всеобщей поэзии, сосредоточивая его на изучении «трех главных поэтов Европы: Гомера, Данта и Шекспира, как представителей трех родов поэзии: эпоса, лиры и драмы» (СМУ, т. II, стр. 619—620).

Ш и р о к к о. Альм. «Сев. Цветы» на 1831 г., стр. 36. *Широкко* — сирокко.

И т а л и и. «М. Набл.», 1835, ч. 2, стр. 54, с. датой: «1829». — Авт. в письме к Погодину от 13 декабря 1830 г., с указанием, что стихи написаны «еще летом» — следовательно 1830, а не 1829 г. Предназначались в качестве эпиграфа к воспоминаниям о Риме, «которые посвящу друзьям под именем Альбома».

П о с л а н и е к А. С. П у ш к и н у. Альм. «Денница» на 1831 г., стр. 107—114, с датой: «Рим. Август 1830 г.». Дата эта неточна. Послание закончено 14 июля (н. ст.) 1830 г. (см. т. I, Арх. Ш., ГПБ). В основном работа над «Посланием» происходила от 20 июня (дата письма к Погодину, цит. ниже) и до 14 июля, но работа эта опиралась на поэтические заготовки более раннего времени. Так, например, стих «Зазубренный спондеем гекзаметр. . . » который Ш. в подстрочном примечании не относит ни к Жуковскому, ни к Гнедичу, относится к Воейкову и создан еще в апреле 1830 г.

«Об гекзаметрах Воейкова, — записал он в дневнике, — в которых он соглашался с Гнедичем, что есть спондеи, объясняя их свойствами Александра [I]: храбр, щедр, бодр и прочие др.-др... можно сказать

*Зазубренный спондеем Гекзаметр
Воейкова зубристый
Пилит язык, когда его читаешь».*

(Дн., том пост. 1928 г.). Сравнение языка с сибаритом мы находим в письме к Погодину от 6 марта 1830 г. К одной из таких заготовок мы относим и эпиграмму на «Русскую Историю» Полевого, сохранившуюся как самостоятельное проигведение в рукописи (авт. ГПБ, № 63) и вошедшую в текст «Послания» в несколько трансформированном виде.

О значении «Послания к А. С. Пушкину» см. мою ст. «Пушкин и Шевырев» («Временник» Инст. Русск. Лит., 1936, № 2).

Выпад против Полевого, выпустившего к этому времени 1-й том «Истории русского народа», вызвал пародию Полевого «Рим» (см. «Мнимая Поэзия. Материалы по истории поэтической пародии XVIII и XIX вв.», под ред. Ю. Тынянова, М.—Л., 1931, стр. 429).

[П у ш к и н у]. «Лит. Газ.», 1830, т. II, стр. 161, под заглавием: «Сравнение», принадлежащим, повидимому, А. Дельвигу. Рукопись — в письме к Дельвигу от 14/2 сентября 1830 г. (Д. С.—ИРЛИ). На рукописи первоначальное заглавие: «Пушкину» — тщательно зачеркнуто (но читается с большой уверенностью), и рядом написано: «Вам представляю окрестить». Повидимому, Ш. считал неудобным помещать эпиграмму на Пушкина в период ожесточенных нападок на него со стороны Булгарина и Полевого и, кроме того, поместить эту эпиграмму в органе самого Пушкина.

Стих «Бывал ли ты хоть на реке Десне?», может быть, имеет в виду стихи в «Полтаве»:

*Теперь он бодрый, пред полками
Сверкает гордыми очами
И саблей машет — и к Десне
Проворно мчится на коне.*

Как известно, Полтава была воспринята критикой очень холодно.

Ода Горация Последняя. Альм. «Сев. Цветы» на 1831 г., стр. 49—50. Авт. в письме к А. Дельвигу от 14/2 сентября 1830 г. (Д. С.—ИРЛИ). Вторая рукопись (авт. ГПБ, № 75). Подзаголовок: «IV к. 16» читается: «IV-й книги, 16-я».

Ода Горация «Последняя» не является переводом из Горация: это совершенно оригинальное стихотворение. «Если скажут, что в соч. Гор(ация) нет такой Оды, — предупреждал Ш. Дельвига, — можете объявить в мою защиту, что я поднял папирус в Помпее: если обвинят в дерзости, что я осмелился к Одам Гор(ация) прибавить свою, то прошу вас извинить меня эпитетом: «последняя» (там же; ср. также «Лит. Портфели», I, 1923, стр. 88).

Р о м у л. Печатается впервые по белой рукописи (Арх. Ш., ГПБ). В печати появились лишь в качестве самостоятельных лирических стихотворений отрывок из монолога Карменты «О вещий бог, далекозорящий бог» (см. Пророчество Карменты о Риме. Альм. «Денница» на 1834 г.) и отрывок из заключительного монолога

Фаустула: «Три молнии громодержавный царь» (см. «Три молнии». — Альм. «Комета Белы» на 1822 г., стр. 215—216). Трагедия задумана в начале августа 1829 г. на острове Искио. Первая сцена написана в начале февраля 1830 г., первое действие окончено 6 августа, второе — 7 ноября 1830 г. «Ромул» остался неоконченным, но мысль о работе над ним не покидала Шевырева долго. 9 декабря 1830 г. Шевырев писал Погодину (Д. С.—ИРЛИ): «Ромул мой спит после двух действий: последние три совсем снаряжены, да душа все была не на месте. Примежься и нейдет. Прочтено все для него: только пиши».

Идейный костяк Ромула в целом должен был отобразить общественно-политические и философско-исторические устремления Шевырева.

Естественно поэтому, что литературные источники Ромула уводят не только в историю Рима (Тит Ливий, Плутарх, Дионисий Галикарнасский и историки Нибур, Крейцер и др.), но и в социологическую и в философско-историческую литературу. Так, для Ромула читался «Le contrat social» Ж.-Ж. Руссо (Письмо к Погодину от 11 февраля 1830 г. Д. С. — ИРЛИ). Этот особый аспект в трактовке исторической темы позволяет смотреть на Ромула как на концентрацию основных политических настроений раннего славянофильства. Так, среди заметок при чтении хроники Шекспира «Генрих V» III. записал: «В совещании Генриха V с вельможами двора о войне французской архиепископ Кантербури сравнивает государство с пчелиным царством. Мне еще до чтения этого приходило в мысль в Ромуле заставить говорить о пчелах — и вот какая светлая мысль блеснула у меня: одни будут стоять за монархию, предлагая в пример пчел; другие — за республику, указывая на муравьев, из коих каждый трудится равно, не страшась правителя. Фаустул помирит их словами: вы не пчелы, не муравьи; изберите из обоих лучшее; у пчел — матку, у муравьев — равенство» (Дн., том пост. 1828 г.).

Русский «соловей в Риме. Альм. «Альциона» на 1832 г., стр. 11—13. Под заглавием: «Русская песня в Риме» и с датой: «1830. Рим», напечатано в сб. «Молодик» на 1843 г., ч. 1, стр. 191—193. Рукопись — без заглавия. Авт. ГПБ, № 85 (на обороте рукописи «Оды Горация Последней»), что подтверждает и дату. М. А. В—а, в альбом которой записаны стихи, повидимому — Мария Александровна Власова, родственница З. А. Волконской, жившая в Риме вместе с нею.

«Не в славу нам, не к чести невских жен». Публикуется впервые. Авт. в письме к Погодину от 13 декабря 1830 г. — 1 января 1831 г. (Д. С. — ИРЛИ); черновик. Авт. ГПБ, № 86.

Посылая эпиграмму Погодину, Ш. сопровождал ее пояснениями, вскрывающими ее антиаристократический характер: «По воскресеньям у нас [т. е. в доме у кн. З. А. Волконской] всегда пение, и теперь начались шарады, в которых и я не последнее лицо. Простый раз (это был первый, ибо до тех пор мы все грустили)¹ это мне взволновало кровь, и я почувствовал было ночью и на другой день

¹ Очевидно, в связи с эпидемией холеры в Москве.

деятельную силу. Но все кончилось эпиграммой, кот[орую] прилагаю. Напечатай без имени... Как зло! И за дело! Не чванься! У нас только и есть оружия, что эпиграммы». Погодин отказался напечатать эпиграмму: «Эпиг[раммы] не стану печатать без имени, — и ведь всё, что в Риме, припишется тебе» (Письмо № 2, от 25 января 1831 г. Арх. Ш., ГПБ).

Относится, вероятно, к С. Г. Волконской (см. выше, стр. 223).

Русским литераторам о необходимости издать Русской Рифмарь. «Тел.», 1831, № 7, стр. 382, за подписью: «S». Беловая рукопись — в письме к Погодину, № 42, от 15 марта 1831 г. Другая рукопись, тоже беловая, но с поправками — в Дн. (т. I, л. 58), среди записей 26 февраля, что определяет и дату.

Ш. действительно мечтал о создании русского рифмаря и даже уговаривал Погодина принять участие в этом труде (Письмо к Погодину от 21 января 1831 г. Д. С. — ИРЛИ).

Стихотворение вызвало издевательский выпад Полевого («М. Тел.», 1832, апрель, № 7, Камер-обскура, стр. 140—141).

К о ш м а р. Печатается впервые по редакции в письме к Погодину, № 42, от 15 марта 1831 г. (Д. С. — ИРЛИ). Второй автограф — беловой, с поправками и незначительными разночтениями — в Дн. (т. I, л. 58 и об. Арх. Ш., ГПБ), в записях 26 февраля 1831 г., что определяет и дату.

Относится к Н. А. Полевому, при выходе 1-го тома «Истории русского народа» (М., 1829) объявившему подписку на 12 томов. Издание закончено не было: вышло всего 6 томов, последний — в 1833 г. Резкая критика Карамзинской «Истории Государства Российского», против которого было направлено издание (ср. «М. Тел.», 1829, № 12), вызвала в литературных кругах большой шум, и задержка второго тома (цензурная помета: 28 февраля 1830 г.), так же как и ряд особенностей первого тома (посвящение Нибуру и т. п.), дали повод обвинять Полевого в шарлатанстве.

К а м е н ь Д а н т а. Альм. «Альциона» на 1833 г., стр. 86—87. Рукопись в письме к Погодину от 21 апреля 1831 г. (Д. С. — ИРЛИ). Дата — из рукописи. В. Д. П. — может быть Прибылевская, одно из римских знакомств Ш.

Вторая строфа имеет в виду гр. Гвиччиоли, любовницу Байрона. Ш. познакомился с нею в 1830 г. на каком-то балу и сообщил о ней Погодину: «...В этом у него [Байрона] предурной вкус. Она рыжая, шея очень белая, но вообще более дурна, чем хороша. Говорят, ума необыкновенного» (Письмо от 13 февраля 1830 г. Д. С. — ИРЛИ). Впрочем, через год, посылая «Камень Данта», Ш. отзывался о ней значительно лучше: «Прочел последние три тома «Записок Байрона» — и как это приятно! Внизу читаю о его любви к гр. Гвиччиоли, а из верхнего этажа слышу ее звуки. Она живет над нами, — и я всегда слышу под ее голос: играет и поет до полночи и, кажется, живет музыкой. Писа к ней относится, но я надеюсь ее прославить лично, ибо она очень интересна. Локоны волшебные — и сравнение им готово. Не думай, чтоб я влюбился. Нет, я очень живу скромно...» (Письмо от 21 апреля 1831 г. — там же). Отзывы Ш. о гр. Гвиччиоли проясняют заключительные стихи стихотворения:

И юноша, лучом тем ослепленный,
В пей полюбил не цвет, не красоту,
Но грешную Байронову мечту.

С о н е т (италианским размером). Альм. «Альциона» на 1832 г., стр. 45. Рукопись в Дн. (т. I, л. 62 об. Арх. Ш., ГПБ), под датой: «21 апреля 1831 г.».

Ж у р н а л и с т у. Печатается впервые по тексту в письме к Погодину от 2 августа 1831 г. Эпиграмма направлена, повидимому, на самого Погодина в связи с помещением в «М. В.», 1830 (ч. 1—3), стихотворений «Нетерпение», «Вера любви», «Смерть счастливец» и «Предчувствия любви» М. А. Дмитриева.

М. Дмитриев (1796—1866) был, как и Ш., членом кружка Раича, но принадлежал к другой группировке внутри этого кружка. Характерно, что он всю жизнь поддерживал литературные и дружеские связи с С. Е. Раичем, с которым «любомудры» и Ш. разошлись уже в эпоху «М. В.».

Ср. следующий отзыв Ш. о М. Дмитриеве в письме к Погодину от 21 апреля 1831 г.: «Еще забыл... побранить тебя за стихи Мих. Дмитриева. Ну, уж теперь-то я совершенно уверился, что в стихах его поэзии ни на букву нет. И как тебе не скучно печатать его стихи? (Подчеркнуто мной. — М. А.) — Благодарю бога, что он избавил меня от этих корректур. Зачем существуют в мире вши, блохи, клопы, стихи Дмитриева? Это тайна неисповедимая. Мне так было досадно, что ты стихи Хвостова поместил в смеси, а Дмитр[иева] под вывеской Изящ[ной] Словесн[ости]. Да Хвостов имеет бессмертную славу дурного поэта, а Дмитриев и этого не имеет» (Письмо № 44. Д. С. — ИРЛИ). Почти текстуальное совпадение апрельского письма с текстом эпиграммы позволяет датировать эпиграмму апрелем — июлем 1831 г.

Седьмая песнь «Освобожденного Иерусалима» Т. Тассо. «Тел.», 1831, ч. 3, стр. 491—497, и ч. 6, стр. 461—481, в сопровождении «Рассуждения о возможности ввести италианскую октаву в русское стихосложение». Перепечатано с предисловием в «М. Набл.», 1835, ч. 3, стр. 4—35 и 159—195. Рук. в Дн. Ш., т. I, перебеленными кусками, датированными. Второй авт. в письме к Погодину от 15 марта 1831 г. (Д. С. — ИРЛИ). Датируется сентябрем 1830 — мартом 1831 г. В основу нашего текста лег текст «М. Набл.», сверенный с рукописями. Разночтений, в виду их незначительности, не приводим.

22 сентября 1830 г. Шевырев записал в свой дневник правила итальянской октавы и пробовал отдельные стихи написать по-русски. Затем приступил к переводу «Освобожденного Иерусалима».

О значении работы Шевырева над октавами см. во вступит. статье.

Э п и г р а м м а — о к т а в а. «М. Набл.», 1835, ч. 3, стр. 10 — в предисловии к переводу «7-й песни Освобожденного Иерусалима». Позднее перепечатывалась многократно (Ж. и Тр. Пог., т. III, стр. 306; «Ст. и Нов.», кн. 2, 1893, стр. 249). Рукопись в письме (к Погодину от 2 августа 1831 г. (Д. С. — ИРЛИ)).

Эпиграмма относится к самому Ш., пытавшемуся своим «Рассуждением о возможности ввести итальянскую октаву в русское стихосложение» и переводом 7-й песни «Освобождение Иерусалима» Торнвато Тассо преобразовать принятую в русской поэзии просодию (см. об этом стр. XXVII и сл.). Два последние стиха эпиграммы — заключительные стихи 7-й песни «Освобожденного Иерусалима».

«Эпиграмму на меня отправь к Полевому без имени, разумеется, — писал Ш. Погодину 2 августа 1831 г., — особенно если будут сильно нападать на мои октавы. Уж я зато над ними после посмеюсь вдоволь. — Не знаю, впрочем, как и эти эпиграммы ¹ могли у меня теперь родиться. Расположение духа вовсе не счастливое» (Д. С. — ИРЛИ).

ПОЗДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

(1839—1864)

К Г[оголю]. «Москва», 1842, ч. 1, № 1, стр. 16—17. Рукопись — авт. ГПБ, № 58. В рукописи ряд незначительных разночтений и три зачеркнутые стиха.

[Песнь IV из Дантова Ада]. «Москв.», 1843, ч. 1, № 1, стр. 6—12, вместе с переводом 2-й песни «Ада» под общим заглавием: «Две песни из Дантова Ада» (переведены размером подлинника), с датой: «Рим. 1839».

М а д о н н а. «О. З.», 1840, т. XII, отд. 3, стр. 227.

О к а. «Москв.», 1841, ч. 4, стр. 21—22.

П р е к р а с н ы й д е н ь. «Москв.», 1841, ч. 1, стр. 57—58.

Н а с м е р т ь п о э т а. «Русская Беседа. Собр. Соч. русских литераторов, изд. в пользу А. Ф. Смирдина», т. II, СПб., 1841. Рукопись — авт. ГПБ, № 62. Написано на смерть М. Ю. Лермонтова.

Стихотворение вызвало враждебный отклик, повидимому, Н. А. Полевого («Р. В.», 1841, № 1, Библиография, стр. 66).

[Н. А. По л е в о м] у («Ага! узнал и тотчас ты заметил»). «Москв.», 1842, ч. 2, стр. 21. Относится, видимо, к Н. А. Полевому, старинному литературному противнику Ш., задевавшему его в рецензии на сб. «Русская Беседа» (см. прим. к предыдущему стихотворению).

31 д е к а б р я. Сб. «Литературный вечер», М., 1844, стр. 144. Рукопись. Авт. ГПБ, № 2.

«Н а р е к а х б л и с т а е т л е т о м». По авт. ГПБ, № 12.

П е с н я — с к а з а н и е о б о з е р е П л е щ е е в е. «Вед. Моск. Гор. Пол.», 1856, № 57, 10 марта. Рукопись — авт. ГПБ, № 15, с пометкой: «Читано 23 февраля в четверг, на обеде, данном В. А. Кокоревым в честь славных черноморских защитников Севастополя».

¹ Вместе с «Эпиграммой-октавой» Погодину была послана эпиграмма «Журналисту».

Крымская война 1854—1856 гг. вызвала целый ряд стихов Ш., нами в это издание не включаемых (помещены в «Москв.», в «О. В.», 1854 г., в «Вед. Моск. Гор. Пол.» в 1856 г., февраль — март). «Песня — сказание» печатается как образец подобной лирики Ш.

Романс Теклы (Из Пикколомини). По авт., находящемуся в альбоме Н. В. Гербея (стр. 475), ГПБ.

Утренняя звездочка. «Лучи», 1857, т. XVII, стр. 24—25, под псевдонимом: «С. Ивановский». Сохранилась рукопись лишь последних трех строф. Авт. ГПБ, № 82.

Жаворонок. По авт. ГПБ, № 82.

Кибиточки. «Москв.», 1857, № 37, 21 декабря, где вместо подписи поставлены три звездочки. Вновь было напечатано в журн. «Лучи», 1858, т. XVII, стр. 145—146, под псевдонимом «С. Ивановский». В 1886 г. с комментариями опубликовано Н. В. Шейном в «Р. Ст.», 1886, январь, стр. 130. Рукопись не сохранилась, но стихотворение упомянуто в одном сохранившемся списке стихотворений Ш. (авт. ГПБ, № 82), где оно обозначено как «Кибиточки на жнитве». Анонимная публикация в «Молве» в связи с прекращением издания была перепечатана с похвальными отзывами в «Совр.», 1858, т. LXVII, Смесь, стр. 208; «СПб. Вед.», 1858, 12 января (№ 9, лист вкладной).

К новому поэту. Еще к новому поэту. По авт. ГПБ, № 40. Еще один автограф — в письме к Ф. Б. Миллеру от 30 декабря 1858 г. (Арх. ИРЛИ, LXXVII. 14065. 13), где эпиграммы предназначались в журн. «Развлечение», в котором, однако, не появились. *Новый Поэт* — псевдоним И. И. Панаева, редактора и сотрудника «Соврем.».

Современная песенка. По авт. ГПБ, № 38. По своему содержанию, примыкающему к предыдущим эпиграммам, датируется концом 1858 — началом 1859 г.

Италии. Опублик. П. В. Шейном в «Р. Ст.», 1886, т. XLIX, февраль, стр. 423—424, без заглавия и с ошибочной датировкой 1857 г. Рукописи (авт. ГПБ, № 20 и 21) — обе беловые, с поправками. Стих. относится к итальянской войне за независимость 1859 г.

Специя. По авт. ГПБ, № 26. На автографе рукой Ш. карандашом проставлена и дата: «1861». Последняя строфа, как повторение, означена только началом первых двух стихов.

Ш. приехал в Специю в июне 1861 г. и пробыл там все лето. Оттуда же, желая встретить О. Ф. Кошелеву, он совершил поездку в Геную и Турин; во время своего путешествия он простудился, что послужило началом длительной болезни, преследовавшей Ш. последние три года его жизни.

19 февраля. По авт. ГПБ, № 23. Последние три строфы были опубликованы М. П. Погодиным в его «Воспоминаниях о С. П. Шевыреве» (Ж. М. Н. Пр., 1868, январь, стр. 427), где они сопро-

вождены датой: «20 февраля». Дата эта, повидимому, неточна, так как, живя во Флоренции, Ш. не мог узнать о манифесте 19 февраля на следующий день, тем более, что 19 февраля манифест обнаружен не был. Мы датируем стихотворение поэтому концом марта.

Отклик. Печатается по авт. ГПБ, № 24. Опубликовано М. П. Погодиным в его «Воспоминаниях о Шевыреве» (Ж. М. Н. Пр., 1869, январь, стр. 427—428).

РАННИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

(1820—1824)

К д р у з ь я м. Альм. «Каллиопа. Труды благородных воспитанников Университетского пансиона», ч. 4, М., 1820, стр. 231—236.

У т е ш е н и е с т а р ц у. По авт. ГПБ, № 47. На бумаге водяной знак 1816 г., но, повидимому, написано позже. Мы отнесим его к первым стихотворным опытам Ш. в Университетском Благородном Пансионе, т. е. приблизительно к 1820 г.

В с ё п р о х о д и т. Тр. ОЛРС, ч. 3, М., 1823, стр. 242—244. Судя по протоколу от 22 октября 1822 (там же), в котором сказано, что за прочитанное стихотворение Ш. был избран сотрудником общества, Ш. читал именно это стихотворение. Это приблизительно определяет и дату стихотворения.

А. А. П р о к о п о в и ч у - А н т о н с к о м у. По рукописи (Д. С. — ИРЛИ, пачка «Письма к изд. Лит. Газ. и два стихотворения»), озаглавленной: «Его превосходительству Милостивому Государю Наставнику и Благодетелю Антону Антоновичу Проконovichу-Антонскому в день его ангела усерднейшее приношение».

Ч е л о в е к (Из Гердера). Тр. ОЛРС, ч. 4, 1824, стр. 243—244. Является переводом стихотворения Гердера.

Т о р ж е с т в о л ю б в и (Гимн Шиллера). Альм. «Сев. Лира» на 1827 г., стр. 123—133, с датой «1824 г.». Является переводом стихотворения Шиллера «Triumph der Liebe. Eine Hymne».

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

С. П. Шевырев. Портрет 20-х гг. Фронтиспис..

Автограф стихотворения С. П. Шевырева «Петроград». Рукоп. отд. ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Между стр. 72—73.

Автограф стихотворения С. П. «Ода Горация последняя». Рукоп. отд. ГПБ им. Салтыкова-Щедрина в Ленинграде. Между стр. 88—89.

С. П. Шевырев. Портрет 50-х гг. Между стр. 128—129.

С. П. Шевырев. Портрет 1861 г. Из семейного альбома И. А. Быкова. Между стр. 176—177.

АЛФАВИТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ СТИХОТВОРЕНИЙ

Ага! узнал и тотчас ты за- метил	189	Да будет! — был глагол творящий	1
Атаман честной.	51	Давно ль во цвете лет сей смертный несчастливый	203
Ах, мой жаворонок чудес- ный!	193	Два духа.	63
Бесконечность моря	195	Две реки.	81
Беспредельность	30	Две чаши.	22
Благая весть! Исчезла кре- пость	197	Две чаши, други, нам дано.	22
Бушует бор, шумят небеса	191	19 февраля	197
Бывало, скиф, наш предок круглолицый	83	Добры люди, вам спою я .	56
Был очень жарок день — и жатва зачиналась . . .	193	Елена (Отрывок из между- действия к «Фаусту»). . .	40
В альбом.	83	Есть рана в сердце у меня .	58
В альбом В. С. Т[опорнин]ой	59	Еще к новому поэту. . . .	194
Варвар Севера надменный .	77	Жаворонок	193
В главе моей, глубоко усып- ленной.	181	Женщине.	73
Везде, где ни промчался я.	63	Журналист и злой дух. . .	44
Веками тканная величия одежда	81	Журналисту.	148
Вечер	13	Звезды тускло замерцали .	192
Видали ль вы, как улич- ный мальчишка	194	Звуки	34
Видалили очилъвицыгладной	72	Звуком ангельского хора .	74
Видал ли ты, как пляшет египтянка	55	Здесь всё мечта, сказал поэт	36
Вменяешь в грех ты мне мой темный стих	90	Здорово, друг, на новоселье!	31
Водевиль и Елегия	4	И для тебя настал свободы миг.	195
Воздух скован теплотой .	85	Из гроба древности тебе привет	86
Вот новый наш поэт: он нов, но не велик	194	Из единого истока	81
Все дни твои светлы, как майское утро!	11	Италии («Лобзай и жги и жми меня к устам»). . .	86
Всё проходит	204	К Агатону	11
Глагол Природа	16	Канн	14
Гром грянул! — внемлешь ли глаголу	16	Как весело кубок бежит по рукам	26
Гулянье	37	Как гусь, подбитый на лету	73
		Как не белъ вдали забеле- лася	190
		Как ночь прекрасна и чиста	54

Как ты, египтянка, прекра-	На реках блистает летом	189
сна	На смерть поэта	188
Камень Данта	Не в славу нам, не к чести	
К Г[оголю] при поднесении	невских жен	145
ему от друзей нарисован-	Немая ночь! прими меня	65
ной сценической маски в	Не печалься, друг, напрасно	
Риме, в день его рожде-	Не призывай небесных вдох-	
ния	новений	188
К друзьям	Ночь («Как ночь прекрасна	
Кибиточки	и чиста»).	54
К Италии	Ночь («Немая ночь! прими	
К непригожей матери	меня»).	65
К новому поэту		
Когда безмолвствуешь, при-	Ода Горация Последняя.	90
рода	Сднажды у ручья, под сенью	
Когда в тебе веками пол-	древ густой	207
ный Рим	Ока	186
Когда светило дня свой	О люди русские! благосло-	
первый луч важжет	вим сей день	197
Кошмар	О мудрость, мать чад не-	
К Риму	бесных!	50
К старцу	Он все концы земли изведаль	84
Кто эта странница печаль-	О, не знаю, что меня стесняет	20
ная? — откуда?	Отклик	197
К Фебу	О Цецилия святая!	20
	Очи	72
Лавры, тополи густые!	Ошибка	36
Лилия и Роза		
Лобзай и жги и жми меня	Падет в наш ум чуть вид-	
к устам	ное верно	49
Лотос	Партизанке классицизма	62
Люблю, люблю, когда в	Певец любви, уныния и неги	148
тени густой	〈Педантам-изыскателям〉	83
Люблю не огонь твоих очей	Первый вечер по изгнании	
	Адама	14
Мадонна	Песнь IV из Дантова Ада	181
Мадонна грустная крестом	Песня Гремиславы	66
сложила руки	Песня — сказание об овере	
Меж тем Эрминия между	Плещееве	190
кустами	Петроград	70
Мечта исчезла — дух уныл	Плодов и звуков божество!	84
Мне бог послал чудесный сон	Под кровом мирным воспи-	
Много рек течет прекрасных	танья	199
Мой идеал	Покади мне, покади!	194
Море спорило с Петром	Покинув дом и в нем заботы	196
Мудрость	По лестнице торжественной	
Мысль	веков	80
	По морю вселенной напра-	
Над бездною водной, над	вил я бег.	30
мрачной скалой	Портреты живописцев	17
Над Дунаем, над рекой	Послание к А. С. Пушкину.	86
На новоселье Р[аич]у	Прекрасный день	187
На площади столичной не-	Прекрасный день в лазури	
замечен	беспредельной	187
[Н. А. Полевом]у		

Прекрасный цвет	24	Тебе тепло, любезный мой	37
Прелестный знаю я цветок	24	Тибр	77
Преображение	74	Тихий трепет ожидания	21
Прокоповичу - Антонскому		Торжество любви	208
А. А.	206	31 декабря	189
Пусть говорят, что ты дурна	68	Три языка всевышний нам	
[Пушкину]	90	послал	34
Распаялись связи мира	84	Тройство	85
Расцветши пламенной душой	62	Тяжелый поэт	73
Рифмач — стихом росси-		Ты асмодей иль божество!	73
ским недовольный	179	Ты без власов, как солнце	
Романс Теклы	191	без лучей	31
Ромул	91	[Украинская песня]	40
Русская разбойничья песня	51	Утешение старцу	203
Русский соловей в Риме	144	Утренняя звездочка	192
Русским литераторам о не-		Участь моя горькая	66
обходимости издать Рус-			
ский Рифмарь	145	Форум	84
Свершился год: хвала тер-		Хвалу пою создателю	22
пенье!	44	Храм Пестума	78
Седьмая песнь «Освобожден-		Храм пустынный, храм ве-	
ного Иерусалима» Торк-		ликой!	78
ватто Тассо	148	Цыганка	55
Сила духа	3	Цыганская песня	56
Скройся, бог света! нивы		Цыганская пляска	55
желают	13		
Служитель муз и ваш по-		Человек	207
корный	59	Четыре века	26
Смотри, мой друг, где		Четыре новоселья	31
солнце засияло?	14	Чтение Данта	85
Современная песенка	194	Что в море купаться, то	
Создание красавицы	22	Данта читать	85
Сон	28	Что грязен Тибр? — Струя	
Сонет (италианским разме-		желта, мутна!	90
ром)	147	Что ж дремлешь ты? —	
Специя	195	Смотри, перед тобой	180
Средь пышных Флориных		Чул! внимайте... полночь	
садов	12	бьет!	189
Стансы	54		
Стансы Риму	80	Широкко	85
Стен городских затворник			
своенравный	83	Эпиграмма — октава	179
Стены Рима	81		
Странствуй здесь с внима-		Я Автор: Автора! вы испо-	
тельной душой	17	ведь внимлите	146
Счастливы добрые! они жи-		Я вам снижу рифмарь, я	
вуют в веках	206	сделаю услугу	145
Счастливы любовью боги	208	Я, в лучшие минуты окры-	
		ляясь	85
Таинство дружбы	58	Я есмь	1
Твой раб, царица, пред тобой	40		
Твоя душа пылка, как розы			
легкий цвет	59		

СОДЕРЖАНИЕ¹

Поэзия С. П. Шевырева. Вступительная статья *М. Аронсона* V

СТИХОТВОРЕНИЯ 1825—1831

Я есмь	1	216
Сила духа	3	216
Водевиль и Елегия	4	216
Мой идеал	11	216
К Агатону (Из Матиссона)	11	216
Лилия и Роза	12	216
Вечер (Из Шиллера)	13	216
Каин	14	216
Первый вечер по изгнании Адама	14	216
Глагол Природы	16	217
Портреты живописцев	17	217
«О Цецилия святая»	20	217
«О, не знаю, что меня стесняет»	20	217
«Тихий трепет ожидания»	21	217
Две чаши	22	218
Создание красавицы	22	218
Прекрасный цвет (Из Гете)	24	218
Четыре века (Из Шиллера)	26	218
Сон	28	218
Беспредельность (Из Шиллера)	30	218
К старцу	31	218
Четыре новоселья	31	218
Звуки	34	218
Ошибка	36	218
Гулянье	37	218
[Украинская песня]	40	218
Елена (Отрывок из междудействия к «Фаусту»)	40	219
Журналист и злой дух	44	219
Мысль	49	219
Мудрость	50	219
Русская разбойничья песня	51	219
Стансы	54	219
Ночь («Как ночь прекрасна и чиста»)	54	220
Цыганская пляска	55	220
Цыганка	55	220

¹ Первая цифра обозначает страницу текста, вторая (курсивом) — страницу примечаний.

Цыганская песня	56	220
Лотос (с италианского)	57	220
Таинство дружбы	58	220
На новоселье Р[ай]чу (Экспромт)	59	221
В альбом В. С. Т[опорнин]ой	59	221
Партизанке классицизма	62	221
Два духа	63	221
Ночь («Немая ночь! прими меня»)	65	222
Песня Гремиславы	66	222
К непригожей матери	68	222
Петроград	70	223
Очи	72	223
Женщине	73	224
Тяжелый поэт	73	224
Преображение	74	224
Тибр	77	224
Храм Пестума	78	225
К Риму	80	225
Стансы Риму	80	225
Стены Рима	81	226
Две реки	81	226
⟨Педантам-изыскателям⟩	83	226
В альбом	83	226
Форум	84	226
«Он все концы земли изведаль»	84	227
К Фебу	84	227
Чтение Данта	85	227
Тройство	85	227
Широкко	85	227
Италии	86	227
Послание к А. С. Пушкину	86	227
⟨Пушкину⟩	90	228
Ода Горация. Последняя	90	228
Ромул	91	228
Русский соловей в Риме	144	229
«Не в славу нам, не к чести невыхских жен»	145	229
Русским литераторам о необходимости издать Русской Рифмарь	145	230
Кошмар	146	230
Камень Данта	147	230
Сонет	147	231
Журналисту	148	231
Седьмая песнь «Освобожденного Иерусалима» Торквато Тассо	148	231
Эпиграмма — октава	179	231

ПОЗДНИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (1839—1864)

К Г[оголю]	180	232
[Песнь IV из Дантова Ада]	181	232
Мадонна	186	232
Ока	186	232
Прекрасный день	187	232

На смерть поэта	188	232
[Н. А. Полевом]у	189	232
31 декабря	189	232
«На реках блистает летом»	189	232
Песня — сказание об озере Плещееве	190	232
Романс Теклы (Из Пикколомини)	191	233
Утренняя звездочка	192	233
Жаворонок	193	233
Кибиточки	19	233
К новому поэту	194	233
Еще к новому поэту	193	233
Современная песенка	194	233
К Италии	194	233
Специя	195	233
«Покинув дом и в нем заботы»	196	
19 февраля	197	233
Открыть	197	234

РАШИЕ СТИХОТВОРЕНИЯ (1820—1824)

К друзьям	199	234
Утешение старцу	203	234
Всё проходит	204	234
А. А. Прокоповичу-Антонскому	206	234
Человек (Из Гердера)	207	234
Торжество любви (Гимн Шиллера)	208	234
Примечания :	213	
Список иллюстраций	234	
Алфавитный указатель стихотворений	235	